



**Дружба  
народов**

**2/2022**



# **В номере:**

*Это не было задумано, но так порой случается — когда номер сложился, неожиданно выявилась его внутренняя тема: самоощущение современного человека в потоке времени.*

## **Похождения провинциала**

Повесть Владислава ГОРОДЕЦКОГО — сага о путешествии провинциала из Кемерово в потаенную жизнь Петербурга 90-х, наполненную уличной фантасмагорией: с картавыми милиционерами-«оборотнями», фокусниками, музыкантами, профессиональными попрошайками и рыночными торговцами — городскими сумасшедшими, ботающими по латыни; с БГ в подземном переходе («Он, как известно, провездной теперь купил. Носится по городу, выпрыгивает из кустов, народ смущает»). «Всё происходящее в этом городе Данила еще мог принять — с сомнением, но поверить в эту насмехающуюся сюрреалистичность; теперь же последние исправные шестеренки, привезенные из прежней жизни, остановились, надломились, псыпались в бездну ужаса».

## **«Я работаю фонарщиком...»**

Еще один «питерский» (во всех смыслах) текст: фрагмент романа «От фонаря» Владимира ГАНДЕЛЬСМАНА. «...Я смотрю на людей в зале ожидания. В каждом, как космическом аппарате, свое пространство-время. Поэтому у Кафки обычная комната судебного заседания — из-за того, что набита людьми, стоящими даже на галерее и упирающимися головами в потолок, — начинает казаться огромной или безразмерной». Групповой портрет поколения 1970-х и более поздних времен на фоне Ленинграда-Петербурга. Яркая, плотная проза поэта, насыщенная философскими раздумьями о писательских судьбах и дружбах.

## **«Обо всём, чем и светел, и жив человек»**

Поиск и осмысление себя, своего места в жизни и самой жизни, — одна из непреходящих тем поэзии. Поэт «будто слово, / и вложен времени в уста» — признается Феликс ЧЕЧИК. «Как много прошлого...» — сетует Сергей ПАГЫН. Переживая горечь утраты, Олег ХЛЕБНИКОВ «стал видеть содержательные сны» о том, «как оказался на краю». Адебютантка «ДН» Анна ДОЛГАРЕВА простодушно утешает: «Там, где болит — приложи подорожник».

## **«Последнее время»**

«Эти записи появлялись спонтанно... Но они по-своему довольно точно отражают время. Ведь и само время тогда было разорвано на части», — так живущий в Ташкенте культуролог Александр ДЖУМАЕВ предваряет фрагменты своих дневниковых записей о «последнем времени»: времени, «когда рушатся фундаментальные опоры человеческого сообщества, принципы гармонии и в самой жизни, и во внутреннем мире человека».

## **«Вирусный мир»**

«В прошлом жить слишком заманчиво, поэтому невозможно, к тому же, это сверхtragично — знать всё, чем это закончится. Жить в будущем тоже нереально: последние два года пандемии показали нам, что будущее таковым и является, ибо до сих пор может преподносить сюрпризы и быть непредсказуемым. Поэтому остается — жить в настоящих книгах о будущем...» Наталья ИГРУНОВА расспрашивает критиков Ольгу БАЛЛА и Александра ЧАНЦЕВА об итогах минувшего литературного года.

# Дружба народов



*Независимый  
литературно-художественный  
и общественно-политический журнал*

*Основан  
в марте 1939 года*

Адрес редакции:  
117218, Москва,  
ул. Кржижановского, д. 13, стр. 2,  
журнал «Дружба народов»  
Телефон (многоканальный):  
8-499-519-02-12

E-mail: dn52@mail.ru,  
Сайт журнала:  
<http://дружбанародов.ком>

Юридическая поддержка:  
Congress Consulting.  
Свидетельство о регистрации  
№ 73 от 14.09.1990 г.  
в Министерстве печати  
и массовой информации РСФСР.  
Свидетельство о регистрации  
товарного знака № 288681.  
Зарегистрировано в  
Государственном реестре  
товарных знаков и знаков  
обслуживания РФ  
12 мая 2005 г.

## *Редакционная коллегия*

Главный редактор Сергей НАДЕЕВ

Ольга БРЕЙНИНГЕР

Ирина ДОРОНИНА

Елена ЖИРНОВА

Первый заместитель главного редактора Наталья ИГРУНОВА

Галина КЛИМОВА

Владимир МЕДВЕДЕВ

Заместитель главного редактора Александр СНЕГИРЕВ

## *Редакционный совет*



Отпечатано в ОАО «Можайский  
полиграфический комбинат»,  
143200, г. Можайск, ул. Мира, 93;  
[www.oaootpkr.ru](http://www.oaootpkr.ru) тел.: (495)745-84-28;  
(49638)20-685

*Редакция не имеет возможности  
рецензировать и возвращать  
рукописи.*

*Во всех случаях полиграфического  
брата в экземплярах журнала  
обращаться в типографию, указанную  
в выходных сведениях.*

*При перепечатке наших материалов  
ссылка на журнал «Дружба народов»  
обязательна.*

Сдано в набор 20.12.2021.  
Подписано в печать 26.01.2022.  
Формат бумаги 70 x 108 1/16  
Печать офсетная.  
Усл.-печ. л. 22,4. Усл. кр.-отт. 23,1.  
Уч.-изд. л. 21. Тираж 1200 экз.  
Заказ . Цена свободная.

Мария АНУФРИЕВА

Сулейман АФЛАТУНИ

Муса АХМАДОВ

Ольга БАЛЛА

Дмитрий БИРМАН

Денис ГУЦКО

Иван ДЗЮБА

Ольга ЛЕБЕДУШКИНА

Фарид НАГИМ

Илья ОДЕГОВ

Кнут СКУЕНИЕКС

Сергей ФИЛАТОВ

Ренат ХАРИС

Вячеслав ШАПОВАЛОВ

ЭЛЬЧИН



## СОДЕРЖАНИЕ

### ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

Сергей ПАГЫН. В глубине тихоходного снега. <i>Стихи</i> .....	3
Владислав ГОРОДЕЦКИЙ. Человек из Кемерова. <i>Повесть</i> .....	7
Алина ГАТИНА. Такая жизнь. <i>Рассказы</i> .....	56
Олег ХЛЕБНИКОВ. Небесная пурга. <i>Стихи</i> .....	78
Владимир ГАНДЕЛЬСМАН. От фонаря. <i>Фрагменты романа</i> .....	80
Елена ДОЛГОПЯТ. Ночь. <i>Рассказ</i> .....	121
Феликс ЧЕЧИК. И затихает гул. <i>Стихи</i> .....	136
Андрей ЛАДОГА. Графоманская проза жизни. <i>Три сюжета</i> .....	141
Валерия КРУТОВА. Время не учит. <i>Рассказы</i> .....	160
Валентина ПЕТРОВА. Формы насилия. <i>Рассказы</i> .....	176
Ксения КРУШИНСКАЯ. Два рассказа .....	189
Евгений СУЛЕС. В сие ли лето, Господи, поеду в Лиссабон? <i>Рассказ</i> .....	199
Анна ДОЛГАРЕВА. Там, где болит — приложи подорожник. <i>Стихи</i> .....	204

### НАЦИЯ И МИР

Александр ДЖУМАЕВ. Из эпохи «последнего времени».	
<i>Разрозненные мысли и наблюдения</i> .....	207

### МОЯ МАЛАЯ РОДИНА

Айганыш АКЫЛБЕКОВА. Осенняя хандра в Кыргызстане:	
недореволюция, киргизация и балконские .....	225

### ПУБЛИЦИСТИКА

Алексей БУРОВ, Геннадий ПРАШКЕВИЧ. О будущем, неуклонно	
превращающемся в прошлое. <i>Два письма на одну тему</i> .....	235

### КРИТИКА

«Вирусный» мир: спасательный круг чтения. <i>Разговор с Ольгой БАЛЛА</i>	
и Александром ЧАНЦЕВЫМ о литературных итогах 2021 года	
ведет Наталья ИГРУНОВА .....	242

### ЛИТЕРАТУРНЫЙ БАРОМЕТР

Евгений АБДУЛЛАЕВ. Гений не нужен .....	262
---	-----

### ПРАВИЛА ИГРЫ

Борис МИНАЕВ. Пробиваясь как в туман .....	266
--	-----

### КУЛЬТУРНАЯ ХРОНИКА

Язгуль ТИРКИШОВА. Парадоксы аутентичности .....	270
---	-----

### К НАШЕЙ ВКЛЕЙКЕ

Художник Аннагельды Меретгельдыев	
-----------------------------------	--

<b>Summary .....</b>	<b>272</b>
----------------------	------------

© «Дружба народов», 2022

*Сергей Пагын*

## В глубине тихоходного снега

\* \* \*

Жизнь прирастает образом и смыслом,  
и всем тобой...  
Смотри — сейчас и здесь  
на этой ветке капелька повисла,  
в себя вбрав всю пасмурную взвесь.

И взглядом лишь и держится дорога  
среди деревьев спящих ноября...  
А мальчик... вот — вдруг замер у порога,  
среди синиц увидев снегиря.

\* \* \*

В бездонных пазухах небесных  
и птичьих паузах в леске  
бормочет некто бестелесный  
на неизвестном языке.

И звуки словно ниоткуда.  
Какой мне смысл из них извлечь?  
Но возвращают близость чуда  
его присутствие и речь.

---

*Пагын Сергей Анатольевич* — поэт. Родился в 1969 году в Молдавии, в г. Единцы. Окончил филфак Бельцкого педагогического института. С 2000 года — главный редактор регионального издания «Норд-инфо». Автор пяти книг стихов, в том числе «Перед снегом» (2012) и «Просто жизнь» (2017). Дипломант Международного поэтического конкурса им. Н.С.Гумилёва «Заблудившийся трамвай» (2010). Лауреат премии «Молодой Петербург» (2011) и др. Живёт в городе Единцы. Постоянный автор «ДН».

### *Сигнальщик*

Кому сигналит пугало, кому?  
 Истлевшими всё машет рукавами,  
 истрёпано дождями и снегами,  
 пустынную пронзающее тьму  
 безумным взглядом, брошенным вперёд...  
 Мяч-голова уже гудит от ветра.  
 И в этом есть отчаянная вера.  
 И холм плывёт...

\* \* \*

Когда я заболел среди зимы —  
 сходил с ума под музыку метелей,  
 на белый свет смотрел со стороны,  
 и мне казалось, что на самом деле

вся жизнь моя — кривая тень другой:  
 высокой, неоглядной, незнакомой...  
 И шёл по шатким улицам домой,  
 путал, искал — найти не мог я дома.

И призраки деревьев и дворов  
 дрожа, вставали, и крылом вороным  
 сметало их...  
 И даже отчий кров  
 был для меня в то время посторонним.

И зыбилось пространство как вода,  
 кружился снег неделю за неделей...  
 И слышу я и летом иногда  
 ту музыку безумную метелей.

\* \* \*

Длинные тёмные сказки зимы  
 с неодолимой горчинкой...  
 В поле репейник,  
 зовущие сны,  
 в свежем полене личинка.

Скоро в оконном стекле пузырёк  
 втянет весь снег над землёю,  
 ветер и ветку, и птичий комок —  
 всё, что и будет тобою.

\* \* \*

Откликается то, что в тебе самом...  
А всё кажется — там, за углом,  
в глубине тихоходного снега  
и стоящего в нём человека.

Сам себе ты и отклик, и зов  
из каких-то немыслимых слов,  
что звучат в тебе тише и глубже...  
А всё верится: где-то снаружи.

\* \* \*

Музыка в музыке — только большой,  
только без сна и без края,  
ты и горишь, и трепещешь струной,  
с небом ночным совпадая,

словно волна, накатившись, — с пловцом,  
словно лицо, приближаясь, — с лицом  
в тающем свете венчальном,  
где-то совпав изначально.

\* \* \*

Как много прошлого...  
Меня уже почти  
на вдох один в летящем этом лете.  
И все земные горькие пути,  
все пустоши полынныне на свете

сошлись в просёлок пасмурный — и вот  
босые ноги к пыли привыкают,  
и бабочка белеет — словно вход  
в счастливый снег,  
и всё не улетает.

\* \* \*

Воронью стою в белом небе  
как будто кто по кругу гонит.  
Огонь свечи в печальном хлебе  
так нежно тянется к ладони.

Потом глядишь на снег утешный —  
ведь есть в том горькая ограда,  
когда становится ушедший  
бесшумным сердцем снегопада.

\* \* \*

Человека выносят ногами вперёд...  
Перед ним лишь земля и пустой небосвод.  
А за ним — нараспашку щербатая дверь.  
Занавеска, обретшая ветер, теперь  
может мягко взлететь и бесшумно вздохнуть.  
Могут вещи, утратив привычную суть,  
только формы и тени оставив свои  
на руинах раденья, вниманья, любви,  
стать словами  
и слиться в чудесную речь  
о зиме и огне, прогревающем печь,  
о тепле молока и пасхальных дарах,  
о бескрайних ночах, пробуждающих страх,  
и о сорной траве, опрокинутой в снег, —  
обо всём, чем и светел,  
и жив человек.

# Проза

*Владислав Городецкий*

## Человек из Кемерова

*Повесть*

В начале было Слово. А почему, папа?  
(х/ф «Жертвоприношение», 1986)

### *День первый*

Поезд прибыл на Московский вокзал ранним утром. Из Кемерова в Петербург — почти трое суток. Соседи по плацкарту, как и виды из окна, менялись весьма условно, не было нужды произносить своё имя и запоминать чужие. Весь путь удавалось сохранять независимость, держаться в стороне, чтобы теперь, дождавшись остановки поезда, оказаться зажатым со всех сторон позеленевшими от усталости, опухшими от выпитого чая, людьми.

Пассажиры по одному выплёвывались как *лужи*\* в сырой густой туман, пропадали в нём, сделав несколько шагов.

Поторапливаемый тычками в спину, Данила спустился на перрон, выхватив из общего гомона чью-то просьбу: «Угостите сигаретой». Обращались к нему. Прошёл мимо, не поднимая взгляда, — в пачке оставалось совсем немного. Кто-то другой удовлетворил просьбу просившего. «А можно парочку?» — донеслось оттуда же. И следом: «Бог — это Троица, дайте три».

С минуты на минуту на платформе появится Андрей, обнимет и подхватит тяжёлую сумку; кто кого заметит первым? Такое долгое расставание, что впору заново знакомиться.

---

*Владислав Городецкий* — архитектор, писатель. Родился в 1993 году в городе Щучинске на севере Казахстана. Окончил Архитектурный факультет КазАТУ им. Сакена Сейфуллина. Автор книги «Инверсия Господа моего» (2020). Лауреат премии «ФИКШН35». В «Дружбе народов» публиковал рассказы (2017, № 1).

\* *Лужа* — это же то членение «много», «выплётывались, как лужа»<sup>(1)</sup>

<sup>(1)</sup> Сноски сделаны Владиславом В. синей шариковой ручкой на полях рукописи и попёрк ней. После основной части текста приведено его письмо (наст.изд., стр. 46). Вычёркивания, перестановка слов, предложений и абзацев, предложенные Владиславом В., не учтены. — Прим. ред.

Данила прикурил, но, не сделав и затяжки, смочил пальцы слюной и потушил сигарету, — показалось, что на огонёк, как на маяк, побрёл этот приставала, готовый кого угодно помянуть всеу, лишь бы заграбастать побольше. Данила положил сигарету обратно в пачку. «С Андреем покурим», — решил он.

Филология, литературоведение, педагогика — да и всё прочее, чему учили в университете, не то что не пригодилось Даниле в жизни, а наоборот, казалось, замедлило социализацию. После того, как разъехались по столицам друзья, Данила оглянулся на окружающих и с ужасом осознал, что для всех, включая немногочисленных родственников, стал чужаком. Большая работа была проделана, чтобы искоренить в себе всю книжность, снова научиться разговаривать просто с простыми людьми.

За университетских друзей было радостно: кто-то стал журналистом, кто-то успешно защитил кандидатскую и преподавал в видном вузе, одна девочка, несмышлёная хохотушка, стала писательницей, но телефонные разговоры становились всё короче: приятелям было в тягость слышать о Данилином скучном бытие, о его бесприбыльном видеопрокате, об одиночестве и тоске по созидающей деятельности, и, что самое глупое, после таких разговоров Данила и сам стыдился себя.

Только с Андреем почему-то всё было иначе.

— Ну, приве-ет! — приятно протянул Андрей, незаметно выступив из толпы. Всё тот же, разве что слегка поседел да округлился. Тепло обнялись.

— Покурим? — предложил Данила и достал две сигареты: мятую, с растрёпанным подпалённым табаком для себя и стройную чистеньку для друга.

— Ты кури, ты с поезда. Наверное, с утра ещё не успел?

— Бросил, что ли?

— Лет пять как, — почти виновато признался Андрей.

Туман улетучился. Вагоны пустели, мужичок в оранжевой жилетке постукивал молотком по колёсам поезда, те отвечали тревожным звоном. Повторно зажжённая сигарета омерзительно пахла — полетела на рельсы недокуренной. «Ну что, пошли?»

В метро спускаться не стали, хотя путь предстоял неблизкий. Прошагали по кромке Площади Восстания и вышли на Лиговский проспект к остановке. Разновеликие дома плотно смыкались торцами, образовывая неритмичную сплошную линию фасадов, но как будто совершенно игнорировали такую неестественную близость: не поддерживали друг друга ни этажностью, ни цветом отделки, ни, уж конечно, хоть каким-нибудь стилистическим единобразием. Данила старался не удивляться — разглядывал непривычную архитектуру как бы невзначай.

Подошёл автобус, в который ринулась толпа. Андрею удалось застолбить сидячее место для друга, но Данила остался стоять.

— Нам вообще долго? — спросил он.

— Долго-долго. Сейчас приедем, дома плов с курой. Поешь, отдохни, помойся.

Обогнув Триумфальные Ворота, автобус вышел на Московский проспект. Это — сталинский ампир, то — неоклассика, вот типичный образец конструктивизма, здесь у нас райсовет, там Национальная Библиотека, недавно открылась, слева — Парк Победы непроницаемой стеной деревьев и кустарников. Слишком много информации валилось на Данилу, ещё неокрепшего с поезда.

— Увидимся с кем-нибудь из наших?

— Сегодня никак, — Андрей машинально посмотрел на часы. — Сейчас на работу часов до семи, потом дорога, потом обратно. Я буду мёртвый.

По негласной договоренности междугородние звонки совершались поочерёдно и не чаще раза в месяц. Данила заранее составлял список вопросов, чтобы ничего не упустить, однако разобраться в специфике работы Андрея так и не получилось. Уяснил он одно: Андрей отвечает за создание положительного образа местной компании, производящей мясные изделия — пишет какие-то тексты, участвует в организации публичных мероприятий. Он не стеснялся своей работы, но предпочитал не говорить о ней, всегда отмахивался: «Это временно».

Когда Андрей узнал, что Данила планирует поездку в Петербург, забеспокоился. Всякий раз напоминал, что его студия совсем крошечная, что нет места даже на надувной матрац и придётся спать в одной постели. Добавлял, что, конечно, страшно соскучился и будет рад наконец-то увидеться, но, может, не сейчас, может, чуть позже, во время отпуска. Однажды даже изъявил желание посетить Кемерово, заглянуть в альма-матер и, если Даниле надо, прихватит видеодиски, сколько угодно — чемодан-два — рискуя, безусловно, но, говорил Андрей, если и посадят, появится свободное время, экстравагантная строка в биографии, необычный опыт... «Откуда такая жертвенность?» — смеялся Данила. «Из нас двоих, если кто чего и добьётся, то ты, а там разберёмся, — серьёзно отвечал Андрей. — Перегорел я, дружище».

Такие разговоры заканчивались взаимными комплиментами, подбадриваниями, ностальгическими воспоминаниями и мечтаниями о грядущих триумфах.

Сейчас, наконец-то увидевшись, без посредничества привычных трубок и проводов беседу сложить не получалось, несмотря на усилия с обеих сторон. Автобус свернул на Ленинский проспект и размеренно шёл на Юго-Запад Петербурга, в сторону Финского Залива. Андрей смотрел в затылок Даниле, Данила смотрел в окно.

Здесь архитектура была уже другой, без какого-либо намёка на преемственность. Кирпичные многоэтажки замысловатой конфигурации постепенно упрощались в панельные дома, их сменяли совсем уже плоские уродцы, обшитые алюкобондом. В одном из таких домов жил Андрей. Больше года назад он отважился взять в этом районе студию в ипотеку, на выплаты по которой теперь уходит почти вся зарплата.

Из динамиков в потолке лифта играл полифонический «Вальс цветов» Чайковского, друзья ехали молча: то неловко смотрели по углам кабины, то ещё более неловко касались друг друга взглядами. Андрей позывкал ключами в кармане куртки.

В квартире Данила удивлённо рассматривал каждый угол. Как было раньше?

Все праздники и пьянки проходили у Данилы: с девятнадцати лет он жил один в двухкомнатной квартире первого этажа. На третьем курсе, устав от общежития, Андрей перебрался к другу. Они курили в открытое окно, мечтали о создании авангардной рок-группы, хотели написать в соавторстве интеллектуальный роман. Едва ли не каждый вечер смотрели кино с одноголосным переводом на видеомагнитофоне под макароны по-флотски (это в светлые дни, чаще были макароны с картошкой), каждую ленту подвергали тщательному анализу. В этой же квартире на новогодней вечеринке Андрей сошёлся с будущей женой. Они по-студенчески скромно поженились; никому из гостей, коих было меньше дюжины, не пришло в голову хотя бы в загсе сделать памятное фото. Последний год жили втроём, совместно написали три дипломные работы, защитились на отлично. Но стоило молодожёнам переехать в большой город, и брак распался. «Из-за эстетических расхождений», — отшучивался Андрей.

Студия Андрея была совсем не похожа на жилище человека, с которым когда-то они делили мечты на двоих: богатый тёмный паркет, шоколадная плитка в прихожей

и на кухне, глухие льняные шторы. Полный порядок, не такой, что наводят перед приездом гостей, а настоящий, постоянный. Нарезной хлеб на специально отведённой полочке, продукты в изобилии — свежие, пахнущие, — тоже рассортированы. «И этот человек защищался по Ерофееву?»

Данила же жил почти так же, как и в студенческие годы: как попало питался, курил прямо в комнате, теперь уже не открывая окна, и всё свободное время играл на гитаре. Иногда приходилось подрабатывать промоутером — маленькому бизнесу, видеопрокату в передней той же квартиры, с появлением скоростного интернета грозил крах, но Данила держался за него как мог, отгоняя тягостные мысли. Несколько лет назад, когда DVD-формат вытеснил VHS, Даниле пришлось снести на свалку десяток коробок с видеокассетами и жить в предчувствии второго подобного события было бы невыносимо.

— У нас плотный завтрак сегодня, — сказал Андрей и поставил на стол блюдо. Из-под золотистого риса, приправленного пряным иранским шафраном, выглядывали кусочки белого мяса, зубчики чеснока и мелкая соломка моркови.

Данила ел с большим аппетитом, прихлёбывая чай, Андрей поглядывал на него и внутренне улыбался.

— Так, всё, я побежал, — вставая из-за стола, сказал Андрей. — Накладывай ещё, потом в холодильник.

Данила поднялся вслед за товарищем и протянул руку, но Андрей не заметил жест, точнее, заметил не вовремя, и уже не сам жест, а неладную попытку его скрыть. Андрей, тоже не самым натуральным образом, положил ладонь на плечо Данилы и продолжил инструкции.

— Проветривай тут. Духота постоянная — воздух не цирку... не цир-ку-ри... — он наигранно запнулся, — в общем, не двигается! Полотенце в ванной. Что ещё? Постель сейчас достану. Диван раскладывается вообще-то, но я обычно так. Ну, если девочку привожу...

— Ну да, ну да...

Прощаться не стали. На пороге в шутку перебросились парой-тройкой лёгких ударов, отчего у обоих, у Данилы уж точно, поднялось настроение.

Не раздеваясь и не расправляя постель, Данила лёг на диван и проспал до обеда. Сон выдался беспокойным. Проснувшись после такого, можно обнаружить себя насекомым.

\* Совершенно чистомысльная реминисценция. Зачем?

Покурить на балконе не удалось — пепельницы нигде не было, а стряхивать пепел на улицу мешала москитная сетка, с кофеваркой разобраться не получилось, так ещё и закрылся в туалете — встроенный в ручку замок не то заклинило, не то открывался он как-то иначе, словом, пришлось отвинтить его маникюрными ножницами, благо они нашлись тут же. Собрался и вышел, разобранный механизм оставил в коридоре на полу.

Лицензионные диски стали обходиться слишком дорого, откровенные пиратки, по пять фильмов на диске, брали неохотно. Одно время удавалось и в Кемерове раздобыть товар нужного качества, но каналы быстро закрылись: двух знакомых почти посадили.

На площади у спуска в метро стоял цветочный магазин, под кондиционером которого образовалась лужа. Из лужи торчала тушка голубя, так причудливо утоляющего жажду. Минуя турникеты, Данила достал из бумажника сложенный вчетверо листок, взглянул ещё раз на адреса. Теперь эти таинственные названия обретали смысл,

а скоро и вовсе обрастут каменной плотью — одна точка на Лиговском, другая на Удельной — четвёртая и вторая линии.

Вагон сильно болтало, у Данилы с непривычки заложило уши. Оглянулся на пассажиров: действительно ничего не чувствуют или не подают вида? Переход к поездам четвёртой линии. Люди, много людей... У всех одинаково равнодушные и сухие лица, почти у всех в руках книги или газеты.

Собирая сумку в Петербург, Данила представлял, как в первый же день случайно повстречает какую-нибудь знаменитость — кого-нибудь из «Улиц разбитых фонарей» или, например, Боярского, и эти фантазии разыгрывались на фоне открытых пейзажей: ну, Зимнего дворца там, ну, Казанского собора, ну, какого-то другого, однако непременно типично питерского пейзажа под открытым небом, поэтому, когда в подземном переходе, месте, не соответствующем ожиданиям, появилась знакомая фигура, он оказался вдвойне не готов признать в приближающемся человеке популярного музыканта. Сначала Данила подумал, что видит перед собой старого давно забытого соседа, и только разулыбвшись и едва не раскинув для объятий руки, сообразил, что надвигается на Бориса Гребенщикова. Ещё бы! Видеть этого человека, пускай только на экране, Данила привык с самого детства. Тот на улыбку узнавания ответил ровно такой же улыбкой узнавания, почтенно поклонился, но, разумеется, не обронил ни слова.

Пройти на Боровую, там во дворы. Извините, не подскажете?.. Город встретил не каким-нибудь боярским-тысяча-чертей, а кумиром юности, случается ведь такое... Так, тут в арку. А если бы не приехал? Но не приехать не мог: переплачивать за транспортировку, подставлять людей, да и не соглашается теперь никто.

О, «Аудио-Видео» — то что нужно.

Данила потоптался у парадной, плюнул в лужу, расстегнул куртку и толкнул деревянную дверь. Упор. Эх, написано же — «на себя»...

В ближайшем ко входу углу, между окном и первой полкой с дисками, спала бабка, вся в чёрном с головы до пят, подмышкой навалившись на невысокую спинку венского стула. За прилавком стоял, неспокойно переминаясь с ноги на ногу, неопрятный мужчина среднего возраста. Он поднял на Данилу глаза и кивком поприветствовал. Небольшая дырка у растянутого ворота светлой майки приятельски подмигивала при каждом телодвижении.

— Что интересует?

— Я много взьму. У вас будет сумка?

— Вы от кого-то конкретного?

— Да, как бы, да... — Данила попытался вспомнить обстоятельства, при которых он узнал об этом месте, и имя человека, про это место рассказало, но от внезапности вопроса всё выскочило из головы. Затянувшееся молчание, подозрение на лице собеседника. Сказал первое, что пришло на ум: — Борис Борисыч.

— Ага, хорошо. На склад пройдёмте.

Складом оказалась тесная комната без окон — металлические полки с дисками в цветастых упаковках, таинственные коробки внушительных размеров вдоль дальней стены.

— Первая цифра — цена за штуку, вторая — количество экземпляров на складе, — сообщил продавец, указывая на бумажные вкладыши под плёнкой упаковки.

Фильмы были рассортированы по жанрам, годам выпуска и, видимо, по популярности. Во всяком случае, пропускала какая-то третья логика.

**12 \*Не бормотал, так как ~~никакие~~ об этом.**  
*Владислав Городецкий. Человек из Кемерова*

С собой у Данилы было семь тысяч, в квартире Андрея осталось ещё пять, вопрос был только в том, закупаться ли тут на все деньги или располовинить и заглянуть на Удельную сегодня же.

Продавец поставил у ног Данилы старый кожаный чемодан, нутро которого почему-то источало резкий запах мочи и разложения.

«Отечественную комедию про пьяные безумства — для тех, кто уже не в состоянии пить и безумствовать, “Последнего Адама” спрашивали, ужастики всегда в спросе...» — бормотал вполголоса, а вернее — мог бы бормотать Данила, если бы имел такую привычку\*. Он ощущал себя не то Дедом Морозом, не то отцом из сказки «Аленький цветочек»; чемодан аккуратно заполнялся пластиковыми боксами. Продавец стоял поодаль, делая пометки в тетради сточенным карандашом.

— Шесть восемьсот восемьдесят, минус скидон от Борисборисыча... итого: шесть с половиной, — с важным видом сообщил продавец и почесал блестящий нос кончиком карандаша, на носу осталось весьма заметное серое пятно. — Мишурा нужна за две сотни?

— Это что?

— Ну, книжки, газеты, тряпьё — выложить сверху. Вдруг остановят.

— Нет, спасибо, — сказал Данила, отсчитывая нужную сумму.

Данила всегда с удовольствием расставался с деньгами, если расходовались они на книги, кино или музыку; пускай и половину этих фильмов он бы не стал смотреть даже под страхом смерти, но ведь кому-то и такое кино приносит радость, значит, оно имеет место... впрочем, причинно-следственная связь...\*\*

Не дали Даниле додумать эту сладкую, интересную мысль, уводящую куда-то в глубины — оглушили пронзительным свистом в самое ухо. Данила шарахнулся в сторону, потерял равновесие, и тут же чьи-то руки умело, почти ласково, сложили его лицом в пол.

— Леж-ж-жать! — раздался над ним строгий беззлобный голос: с такой интонацией прихлопывают таракана, не первого и не последнего за сезон — очередного. С полминуты Данила держался на локтях как одеревеневший и смотрел перед собой на чёрную от пыли жвачку, прилипшую к кафельной плитке, затем как-то внезапно в нём проснулась несвоевременная брезгливость, и он двинулся от жвачки подальше.

— Куд-да пополз?! — рядом с головой Данилы топнула нога в лакированной туфле. Вдоль серой брючины тянулась красная змейка лампаса. «Попал». Боковым зрением Данила увидел продавца, который, как оказалось, тоже прилёг неподалеку без какого-либо воздействия со стороны стража порядка.

Милиционер беззастенчиво залез в каждый Данилин карман, как в свои, нашёл паспорт и, судя по сосредоточенному пыхтению и шороху страниц, принял внимательно его изучать. Обычно опытному человеку хватает полминуты, чтобы извлечь из этой красной книжечки всю необходимую информацию, но этот отчего-то медлил.

— Ошибки нет. Значится, Данила, ты у нас из Кемег-гова? — милиционер озадаченно карталил. — Давно в Питеge?

— Первый день.

— Пегвый день... Вот вы все сюда пгётесь, пгеступность гастёт, уговень жизни падает, погода погтится, а отвечать кто будет?

— Погода-то тут при чём?

— Ну, смотги. Ты в Питеge только с утга, да? А углекислого газа выделить успел литгов шесть. Тем же поездом пгибыло ещё человек шестьсот — это уже тги с половиной тысячи литгов. Пгодолжать?

# Поэзия

*Олег Хлебников*

## Небесная пурга

\* \* \*

Уступаю жизнь другим.  
Так же уступал  
славу, должности... Нагим  
перед Тобой стоял.

Только — видишь ли меня,  
не пойму пока.  
Вот сейчас на склоне дня  
застят тучи, облака —  
небесная пурга.

\* \* \*

*Анне Саед-Шах*

После смерти твоей и моей,  
стало жить мне намного темней.

Потому что ночами не сплю —  
твои весточки с неба ловлю.

А они повседневно просты —  
обо мне так заботишься ты.

---

*Хлебников Олег Никитьевич* — поэт, журналист, кандидат физико-математических наук. Родился в Ижевске в 1956 году. Окончил Ижевский механический институт (1978) и Высшие литературные курсы (1985). Печатается как поэт с 1973 года. Автор 11 книг стихов. Лауреат Новой Пушкинской премии (2013), премии «Парабола» фонда Андрея Вознесенского (2019), премии СП Москвы «Венец» и др. Живёт в Переделкино.

\* \* \*

Старик, который плавает кролем  
и наслаждается Чёрным морем,  
кажется, он нелеп?  
Может быть, даже детишкам страшен,  
но всё равно в прибое отважен —  
даром что полуслеп.

Кого-то мне он напоминает  
и будто сам на себя пеняет,  
что уж не тот, друзья.  
Кто же он, угадайте, кто же?  
Будь я немножечко помоложе,  
был бы уж точно я.

\* \* \*

Господибожемой! Стоят, соприкасаясь,  
дышат одной волной, смотрят глаза в глаза,  
господибожемой — мальчик почти красавец,  
господибожемой, девочка-стрекоза.

Господибожемой, зависть в душе проснётся  
и воплотится в вой: «Мне бы вот так с тобой!»  
Господибожемой, сердце мое сожмётся —  
длилось бы это всё, Господи, Боже мой!

\* \* \*

Прорвавшись из-под купола Москвы,  
стал видеть содержательные сны.  
Они тревожны, весело-страшны,  
зато до каждой чёрточки точны.

Показывают вкратце жизнь мою  
и как я оказался на краю,  
и одного себя во всём корю,  
когда проснусь и тут же закурю.

А что же экранирует Москва?  
На прошлое моё мои права?  
На тишину, раскаянье, тоску?  
За это и люблю её, Москву.

*Владимир Гандельсман*

## От фонаря

*Фрагменты романа*

Из первой части

### *Апрель*

Девочка на лестнице. Меня не видит. На площадке замирает — и дальше спускается ритмичными прыжками со ступеньки на ступеньку, — её охватил безличный и изначальный ритм, совершенно положительный и счастливый. Ритм, рифма — в природе человека и рождается из неотъемлемой паузы.

Сидящий в автобусе человек наклоняется, отламывает от коричневого коржика и откуда-то от колена забрасывает куски в рот, методично, кусок за куском, ни на кого не обращая внимания, а закончив, вынимает книгу и пристально в неё впивается, всё без промедления, без малейшего приготовления к погружению в еду или чтение, в непрерывности ежедневного ритма.

Рядом сидит девушка в громких наушниках. «Почему вы всё время расширяете своё присутствие?..»

*(В подобных случаях Эдуард говорит: «Делайте это тихо!»)*

В этот момент резко меняется освещение, потому что автобус поворачивает, и я смотрю в окно и перестаю существовать.

Слева, появившись издалека, вода поднимается до щиколоток и заливает мостовую, затем тротуар, и, входя во двор, я вижу сплошное ледяное поле, по которому с трудом добираюсь до парадной, но ведь, когда я повернулся на свою улицу, было лето... Сегодня приснилось.

---

*Гандельсман Владимир Аркадьевич* — поэт и переводчик. Родился в 1948 году в Ленинграде. Окончил электротехнический институт. Работал кочегаром, сторожем, гидом, грузчиком, преподавателем русского языка и литературы. Автор более двадцати книг стихов и многочисленных публикаций в журналах. Живёт в Нью-Йорке и Санкт-Петербурге.

Предыдущая публикация в «ДН» — 2021, № 12.

Мне часто снится город, в котором я раньше жил. Там живёт мой друг Леонид.

Я еду на работу. Путь долгий: от кольца до кольца. Я работаю фонарщиком. Звучит поэтично, но это нагруженная неуместным символизмом случайность, а работа самая прозаичная: обойти свой район и записать номера неисправных фонарей, а затем передать электрикам. Ещё среди моих подопечных — неоновая реклама. «Лучшие кальяны в городе», «Элитное постельное бельё»...

Еду и читаю в газете рецензию. Писатель хвалит работу другого: «Я не завидую, это воистину полёт...» Рядом интервью ещё одного: «Интеллектуальный гламур даже отвратительней обычного. Нет-нет, конечно, пусть зарабатывают. Не хочу называть имена, а то подумаю, что завидую...»

Избыток чуткой независти.

На автобусном вокзале женщина, как оказалось, нищенка (или в роли нищенки?), подошла и, прежде чем заговорить, рассмеялась, и так самозабвенно и тихонько рассмеялась, прихватив меня слегка за локоть, что я спросил: «Что вы смеётесь?» — «Нет, ничего», а затем немедленно попросила денег, — надо же! ведь я на мгновение стал её заинтересованным знакомым и отказать не мог, фокус был выверен на доли этой самой секунды и показался мне очень изящным.

Фонари зажгутся ещё не скоро. Зачастую я приезжаю в этот район много раньше положенного. Иногда дома тоскливо.

Сажусь на скамейку и снова берусь за газету. В передовице — изображение политического лидера соседней страны и, словно в продолжение неведомого стихотворения, влетает строка: *президент страны подёрнут плесенью...* Президент страны подёрнут плесенью...

Невозможно читать, когда в голове бьётся залетевший в неё ритм... В зале тоже всё мелькает, вечернее солнце выдвигает и задвигает ломаные плоскости света...

«В Москве приостановлена работа сети китайских ресторанов, в которых под видом бааринны подавали мясо убитых бродячих собак, сообщила в понедельник пресс-офицер управления по борьбе с экономическими преступлениями ГУВД столицы Ирина Волк».

Время между собакой и волком.

«По окончании футбольного матча, тренер проигравшей по вине арбитра команды сказал: “Есть Божий суд, наперсники разврата”».

В криминальной хронике пишут, что в зале суда бегал солнечный зайчик. Подсудимого на выходе во двор убил снайпер, засевший на чердаке дома напротив, а один из свидетелей потом догадался, что зайчик был, скорее всего, отблеском оптического прицела.

Я думаю о таком непостижимом призвании солнечного зайчика...

Моя работа — праздная. Но с некоторых (и уже давнишних) пор ум мало что и занимает, потому что сосредоточиться на чём-то, что отвлекает от слегка ошеломительной заброшенности в жизнь, уже не могу. Сейчас я меньше верю в то, что жизнь — это лишь происходящее со мной и вокруг, что она — вот это видимое

и чувствительное расположение тел в пространстве и во времени, и только. Но я ещё очень привязан к этой варварской вере.

Много лет назад у меня была жена, оставшаяся в том городе, где остались все мои друзья. Два года мы прожили вместе, потом она ушла. Обычную земную привязанность можно определить переживанием страха смерти как страха расставания с ней, а не своего исчезновения. После ухода жены я сразу переехал в другой город. А потом сказал себе: я её, конечно, люблю, но не более того.

Иду по своему участку. Рядом молодая пара. Слышу упрямый голос девушки: «Кто она? Кто она?» Её друг чуть впереди, блуждающий взгляд, полуулыбка. Оба не совсем здесь.

Подлинность себя не знает, потому так неопровергима в своём молчании. Но человеческое знание неубедительно и легковесно, — рябит болтливо и тараторит вскось. «Кто она? Кто она?»

*(В подобных случаях Эдуард говорит: «Сзади идёшь — сзади и найдёшь».)*

В любви неуничтожимо лишь бесчувственное сопровождение: пейзаж или интерьер. Потому что они ничего дурного не замышляют. «Вы уверены?» Но я прохожу мимо не отвечая. Сейчас лучшее время дня, заходит солнце. Я сажусь на скамейку и смотрю на небо.

В этом районе, где я совершаю обход своих «подопечных», всё знакомо до мелочей: не только улицы и их обитатели, но и мизансцены, выверенные во времени и пространстве с такой точностью, что я могу предсказать выход того или иного «актёра». Их повторяемость в своём самоутверждении, как ни странно, не добавляет реальности, наоборот, внушает иллюзорность, и, если бы не случайные статисты, дилетанты, действующие на свой страх и риск, сновидению не было бы конца.

Сейчас выход бодряка из того кафе. Он ест бутерброд, вминаясь в свежую булку, начинённую зеленью и мясом, с таким жаром, что я ощущаю вкус поглощаемого. Тело в разгаре ещё не исчерпанного удовольствия.

А вот и статисты: на той стороне улицы целующаяся пара, при этом мужчина умудряется рукой почёсывать бок. Но ведь только так бодряк и может запомниться? «Да, уверен».

Есть ещё замечательные случайности, которые выламываются из скучной повседневности своей странной выразительностью. «Выразительной претенциозностью», как приговаривает «повседневность», подобно каждому из нас, подозревающему, что все, кроме него, слегка сумасшедшие.

Низкорослый мужчина облокачивается на шею девушки с отпиленной головой, — на ней обтягивающие джинсы и блузка, она стоит ровно и подчёркнуто неподвижно, притворяясь манекеном, который в следующее мгновение им и становится, — выставленный перед магазином одежды, он мелькнул, когда я ехал на работу, а вспомнился сию секунду, когда смотрю на сидящих на асфальте двух крошечных чёрных птиц — клюв в клюв, — застывших в поцелуе, и пока вглядываюсь в них,

они превращаются в кленовый лист, вырезанный и вертикально установленный в виде двойного силуэта, — он подрагивает на сером асфальте от щекотки заходящего солнца, освещивающего его сзади, — оттого с моей стороны силуэт не сплошь чёрен, но слегка позолочен по контуру.

На обратном пути вижу в витрине офиса братьев-близнецов, сидящих за соседними столами с совершенно одинаковыми просителями, — до сегодняшнего дня там присутствовал лишь один из них, чиновник, что-то усердно подсчитывающий, — я удивлён удвоенной картиной, пока не озаряюсь бережной догадкой, что левую стену залили сплошным зеркалом.

Потом я бреду домой, время позднее, прохожих почти нет, только иногда полиэтиленовые мешки взлетают и пускаются вдогонку друг за другом, нестрашно пугая краткой вспышкой зависти к одушевлённому миру.

«Летают сны-мучители над грешными людьми...» Свидание Мандельштама с этими строками из лермонтовского «Свидания» и подсказало ему «Лермонтов, мучитель наш...»

Ночью мне приснилось, что вошла жена. Есть несколько человек, постоянно присутствующих в моей жизни, некоторые умерли, а кто-то остался в том городе. Я с ними разговариваю. Странно, что человек может спать. Ещё страннее, что он не сходит с ума. Ведь происходящее с ним не имеет и намёка на разумное объяснение. «Но, может быть, заложенная в нём упрямая способность справляться с этим и есть намёк?» «Может быть. Физиологический намёк на духовные обстоятельства».

Природа существует без нажима, даже гроза. А человек опьянён сознанием духовного роста с последующим переживанием всякий раз большего своего совершенства. То и дело он восклицает: «Я всё понял!» или «Что-то мне приоткрылось!» То и дело он хочет искриться талантом в торжествующей значительности. Я видел людей, воспаряющих в этой лихой намеренности так, что у них шипели волосы, точно загорались, — казалось, их сжигала похоть, прянущая в голову.

Моя жена боялась памяти. Она избегала её усилием воли. Когда я видел, как тяжело она переживает воспоминания, я понимал, что детство, возможно, оттого легко и счастливо, что в нём их ещё нет, и что взрослая жизнь, возможно, становится просто воспоминанием о жизни. Здесь и таится неизбежность творчества как освобождения и установления точности.

Например, стихи. Точность состояния. Для мира, в который ты вкраплён, твоёискажённое изображение не может пройти безнаказанно, потому что ты и есть мир. И когда от стихов требуют рациональной ясности или общности, или вменяемости (в зависимости от современной критики лексики), как правило, упускают из виду ту сердцевину, из которой говорится и которая в счастливых случаях оказывается безупречной. Так было у Мандельштама. Он произнёс последние слова, доступные смыслу, и эта грань бесценна, потому что ещё чуть-чуть — и мы не разглядели бы «до чего ж он сердцевит», а цветущая стремительность формы оказалась бы энергетической растратой.

---

*Елена Долгопят*

# Ночь

*Рассказ*

\* \* \*

В ночь выходить нельзя, не вернёшься. Об этом все знали, и все по ночам сидели дома; в домах, по крайней мере.

Ночь поднималась от земли, из земли, подобно воде. Затапливала скамейки, ограды, деревья, заглядывала в окна (все закрытые), достигала крыш, достигала неба, смыкалась с космическим пространством, с бесконечностью.

Кто не успевал до темноты в дом, тот исчезал на веки вечные. Ночь, не смотри в мои глаза, — была такая песенка.

Сказку о ночи Саша услышал в раннем детстве. Родная тётка придумала, материна сестра, гостила у них три дня; мать говорила: весь чай выпила. Ела мало, а пила чёрный чай с сахаром.

Саше она не полюбилась, он её дичился. Тётка и конфетку ему подаст, а он не берёт.

— Глаза у тебя кошачьи, — говорила мать сестре, — вот он и боится.

Сестра смеялась:

— Мал он ещё меня бояться.

И вот как-то раз они коротали вдвоём вечер, а мать была на работе. Свет следовало зажечь, Саша уже не различал, что у него нарисовано на листке: где дом, а где дерево.

— Не включай, — велела тётка, — зачем тебе различать, пусть оно так, как хочет, посидим в темноте, а я тебе сказку про неё расскажу, про темноту.

И рассказала. А после чиркнула спичкой и поднесла к сигарете огонёк.

— Не кури в доме, не кури, — мать уже сто раз говорила.

И вновь сказала, когда вернулась. Фортонку отворила.

Саша попросил закрыть. Оттого что ночь.

— Нюня он у тебя, — рассмеялась тётка и пошла курить в сад, в ночь.

Саша почти поверил, что она не вернётся.

---

*Долгопят Елена Олеговна* — прозаик, кинодраматург. Родилась в городе Муром Владимирской области в семье военнослужащего и учительницы. Окончила Московский институт инженеров транспорта (1986), сценарный факультет ВГИКа (1993). Автор книг прозы: «Тонкие стёкла» (Екатеринбург, 2001), «Гардеробщик» (М., 2005), «Родина» (М., 2016), «Русское» (М., 2018). Публикуется в журналах «Знамя», «Новый мир». Постоянный автор «ДН».

Вернулась притихшая, а Саша подумал, что это вернулась не она, какой-то другой человек в её облике. И даже глаза были не светящиеся кошачьи, а заплаканные человечьи. Хотя ведь и кошки плачут.

\* \* \*

Доктор сказал, что ночь эту Саша не переживёт. В голове гематомы. Кости переломаны. Едва дышит. Мать сидела возле него.

Ночь тёмная. Ноябрь. Санитарка тогда дежурила, мать ей по трёшке давала ежедневно, не жалела. Старенькая, чистенькая. Она чаю принесла.

— Выпей, Клава, сладкий чай, крепкий.

Мать попросила посидеть с ними, пока чай пьёт. Санитарка сказала:

— Посижу.

Водитель, который сбил Сашу, помирал на соседней койке, Клава смачивала ему водой губы, а жена его рожала в эту ночь.

И вот Клава ждала, пока чай остынет, а санитарка посмотрела в окно и сказала, что в ноябре Бог землю не видит.

— Листья опали, трава пожухла, до первого снега далеко. Тёмна земля, — так объяснила.

Ещё добавила:

— И дел никаких наших в ноябре Бог не видит, ни добрых, ни злых. И слёзы скрыты от Него, и вздохи, и радость тоже скрыта. Ноябрь, ноябрь, чёрная нора.

Мать не поверила.

— Да ведь Он же Бог. Что Ему Тьма, Он и есть Свет.

— Отпуск берёт, — придумала санитарка. — Отдыхает.

На это мать ничего не нашла возразить.

— Знаешь, у нас над рекой церковь? — спросила санитарка.

— Знаю, — отвечала мать.

Церковь звалась Николой на набережной. До пятьдесят шестого держали в ней военный склад лётного училища, но училище перевели в Рязань, и склад переехал туда же, а церковь осталась ничьей. Ребятишки в ней лазали, мужики вино распивали и не боялись. А может, и боялись.

— Поди туда, — велела санитарка, — а я здесь покараулю.

— Да зачем же так?

— Ступай, ничего, авось уговоришь за сына своего.

— Что же ты мне раньше не сказала?

— Раньше надежда была.

И мать надела туфли, надела пальто, шапку самовязанную, поцеловала сына в горячий лоб и отправилась. А год был тысяча девятьсот восемьдесят третий, Саше минуло двенадцать лет.

Час поздний, город спал. Мать шла, тень её появлялась, исчезала, то с одной стороны, а то с другой. Иногда в каком-нибудь окне тлел свет, и мать думала, что вот и здесь люди не спят. А может, просто позабыли выключить и понапрасну жгут электричество.

Мать шагала по Жданова до парка Пятидесятилетия, затем через пути до рубероидного и по Московской до Парка культуры. Спустилась по лесенке в самый глубокий овраг, где родник, и поднялась на другую сторону.

Церковь возвышалась на взгорке. От реки дул студёный ветер.

Мать недолго думала и вступила в чёрное нутро.

В церкви ей показалось холоднее, чем снаружи. Она не решалась двинуться с места, даже пальцем пошевельнуть не решалась в полной беспространной тьме.

Кружилась голова, и чудилось, вот-вот потеряешь равновесие, полетишь, и бог весть куда полетишь, не самый ли ад развернется под ногами.

Вспыхнул свет, ослепил. Мать зажмурилась и услышала голос сына.

— Мам.

Она открыла глаза и увидела себя в собственном доме, в узком их коридоре с рукоятьником, с приставной лестницей на чердак. Сынок её стоял тут же. Тёплый, родной, живой.

Она бросилась его обнимать. Он, конечно, вывернулся.

— Ты чего так поздно?

— Я? Да вот. Ты ужинал?

— Не. Я тебя ждал.

— Ну, бегом тогда, ставь чайник, макароны разогревай.

— А с чем макароны?

— Тушёнку открывай.

— Ух ты! Ура!

Она слышала, как он возится в чулане (там у них стояла газовая плита, красный газовый баллон), чиркает спичкой, гремит посудой, чертыхаются. Как бы не поранился открывалкой.

— Мам! Щас чайник закипит.

Она заторопилась, сняла пальто, повесила на крючок. Скинула туфли. Вымыла руки. Посмотрела на себя в зеркале.

— Подурнела ты, Клава, — сказала отражению.

— Мам! Дверь придержи! Я чайник несу! И макароны!

В доме тепло, печь натоплена. Часы на буфете молчали. Клава попыталась завести. Штырёк застопорился.

— Сломались, — сказала мать. — Хорошие часы. Войну помнят.

Сказать сказала, но поняла про себя, что времени здесь нет.

По радио пел детский хор. Мать подумала, что, наверное, это ангелы. Сынок её сосредоточенно наворачивал макароны.

— Мне-то оставь, оглоед.

Ели они прямо со сковородки, как и всегда. Чёрная сковородка, чугунная, долго держит тепло. Сынок подобрал остатки хлебной корочкой. Он всё ел с хлебом, даже мороженое. Спросил буднично:

— Мам, ты умерла?

— Нет.

— А как ты сюда попала?

— Так. Пропустили.

— Почему?

— Потому что и ты не умер.

— Почти умер.

— Почти не считается.

Она провела ладонью по его коротко остриженной голове.

— Пойдём домой, Саша, чего мы здесь?

— Здесь тоже дом.

— Тоже, да не совсем. У нас веселее, милый. И часы стрекочут заместо сверчка.

Бабка моя старая говорила: часы стрекочут, время точат.

— Как это?

— Да вот так. Время, оно, твёрдое, каменное. И день у нас скоро наступит, на солнышко поглядим.

— И здесь наступит.

— Здесь не наступит. Здесь не жизнь, здесь ты навсегда такой будешь: и не ребёнок, и не взрослый.

— Я чай хочу.

— Наливай. И мне наливай, покрепче. Сахару много не клади. Вредно.

Он рассмеялся.

— Вредно. Здесь, мам, уже ничего не вредно.

И сахару положил пять ложек.

— А вкус чувствуешь?

— Чувствую. Хотя уже не так, как вначале. Всё как-то становится. Ну. Как будто издалека смотрю. Как будто это не совсем я чай пью.

— Сынок, Сашенька, вернёмся, пока не поздно. Скучно здесь.

— Везде скучно. А здесь я не навсегда, когда совсем умру, в рай попаду, потому что грехов у меня пока нет тяжёлых.

— Откуда ты знаешь, как будет?

— Ниоткуда. Знаю. Само собой как-то.

— Не будет рая после смерти. И ада не будет. Смерть это ничто. Я когда-то, до твоего рождения, три часа без малого лежала под наркозом, от желудка кусок отрезали. Пришла в себя и поняла, что меня не было в эти три часа. Нигде. Смерть, это когда тебя нет. Ни в аду, ни в раю, ни на грешной земле. Нигде.

— Я посуду помою, — решил сынок.

Налил в таз горячей воды, принялся перемывать чашки. Он любил хозяйничать, любил порядок в доме.

— Оставь ты посуду. Пойдём. Пойдём, пока не поздно.

— Наркоз — это не смерть.

Мать взяла полотенце и принялась вытирать вилки да чашки.

— Не смерть, но близко к ней. А ещё ближе не хочется. Успеется.

Он не отвечал. Тёр сковородку обрывком лыковой мочалки.

— Саша. Оставь. Посмотри на меня. Так.

Посмотрел. Глаза серые, как у отца были, в точности.

— Хочешь мопед?

Вот так она его и уговорила.

Они проверили, всё ли в порядке в доме: погашен ли свет, не горит ли газ, закрыты ли форточки. Оделись, обулись, ключи не нашли, отворили дверь. Шагнули за порог.

Санитарка тряслась за плечо.

— Клава, Клавдия, очнулся твой парень, пить просит.

Мопед она ему купила весной, когда сошёл снег. Львовского производства, подержанный. Саша гонял на нём до одури. Пропах бензином, горелым маслом, куревом (пристрастился). Светился мальчишеским счастьем.

Этой весной Клава познакомилась с мужчиной. В кинотеатре. Пошла с Валентиной на последний сеанс, народу полно, фильм французский, страшный, с убийствами. И после фильма, когда медленной толпой вытекали из зала в прохладную ночь, этот мужчина к ней обратился.

— Как у них всё красиво, у французов, даже кровавое убийство. Эстеты.

Она удивилась слову «эстеты», подумала, что, наверное, интеллигентный человек. Сказала:

— Не могу судить. Я закрывала глаза, когда кровь.

Мужчина улыбнулся приятной, располагающей улыбкой.

— Позвольте мне вас проводить?

— Я не одна, — отвечала мать и взяла Валентину под руку.

*Феликс Чечик*

## И затихает гул

\* \* \*

Как неожиданно, что снова  
я возвратился, будто слово,  
и вложен времени в уста,  
родные посетив места.  
И, в пояс поклонившись полю,  
я вновь кириллю и глаголю,  
и в слове умираю вновь —  
косноязычный, как любовь.

### *Почва и судьба*

1

Вспоминаю Вадима  
Валерьяновича:  
он глядел нелюдимо,  
как больной на врача  
в отделении онко —  
там, где смерти страда,  
где безмолвно и тонко  
и где рвётся всегда.  
В 90-м на Пресне,  
как отпущенный грех,  
время словом из песни —  
просто кинуло всех.  
Время сплыло, растаяв,  
наподобие льдин:  
и на сцене Куняев,  
и в могиле Бахтин.

---

Чечик Феликс — поэт. Родился в г. Пинск (Беларусь). Окончил Литературный институт им. А.М.Горького. Автор нескольких сборников стихов и многочисленных публикаций в литературных журналах. Лауреат «Русской премии» (2011) и международной премии им. И.Ф.Анненского (2020). С 1997 года живёт в г. Нетания (Израиль).

Четверть века я не был  
и вернулся сюда:  
Краснопресненским небом  
голубеет вода.  
Полегчала година,  
оплыла, как свеча...  
Вспоминаю Вадима  
Валерьяновича  
добрым словом, конечно,  
несмотря ни на что.  
И светло, и утешно,  
как в Небесном Лито.

## 2

Среди подмосковных деревьев,  
которые бездна и храм,  
читает стихи Передреев  
синицам дефис снегирям.  
И, кроме бескрайнего леса,  
в душе у него ничего.  
А страх, не имеющий веса,  
живёт, как любовь, кочево.

## 3

Когда я почвенником был,  
паша на судоремзаводе,  
я вдохновенье находил  
в несуществующей природе.  
Полей и заводей фанат,  
закатов, что горят пунцово,  
я был смертельно виноват  
в скоропостижности Рубцова.  
И не смолкла тишина,  
как гормональные подростки,  
когда не стало Шукшина, —  
ушёл в заоблачные Сростки.  
И чистоты парад-алле,  
как песню, — не убило время.  
И не было на всей земле  
антисемитнее еврея...  
Непрекращающийся бег  
и головокруженье плевел:  
Сорокин, Лосев, Айзенберг,  
Кибиров, Гуголев, Пелевин.  
Но прахом став и став золой,  
кружа по жизни в ритме вальса,  
раздваиваясь под пилой,  
с любимыми не расставайся.  
Молчи, скрывайся и тай,  
что из металла соловьи.

\* \* \*

Вороны каркают. Коты  
чернеют — тут и там.  
Последняя надежда ты,  
но я не Мандельштам.  
Я — непонятно кто. Никто, —  
я растворён в тебе,  
накинувший полупальто,  
в опальном декабре.  
Я — мышь, не ставшая горой,  
просроченность оплат:  
мои Воронеж и «Дальстрой» —  
Левант и ссылка lite.  
Сердцебиения: «тик-так»,  
как из небытия,  
и обустроенный чердак  
возненавидел я.  
На ласточек и воробьёв  
охотятся коты...  
И бесконечная любовь  
поёт из немоты.  
И мне теперь сам чёрт не брат.  
И затихает гул.  
И вновь на птичьем говорят  
Державин и Катулл.

### *Tra-ta-ta...*

#### *I*

Детский смех с тишиной рифмовался,  
рябь озёрная с криком ворон:  
в ритме потустороннего вальса  
возвращался домой с похорон.  
Тра-та-та, — напевал, — тра-та-та-та,  
и безумию вторила ночь.  
Чтоб с ума не сойти, как Торквато, —  
ТАСС, пожалуйста, уполномочь!  
Потрясла, — почему? Не понятно —  
смерть чужая — ещё не моя!  
На луне бледно-тёмные пятна  
и пресветлой печали моря.  
Оттого ли — мне тяжко и горько,  
что с покойником не был знаком  
и ржавею в стогу, как иголка,  
и звоню — неизвестно по ком?  
Вдруг услышал простой и юдолльный  
(стало холодно и горячо!)  
звёзд ночных перезвон колокольный  
по себе. По кому же ещё?

## 2

Ю.Г.

Затянув: тра-та-та, тра-та-та,  
надоеv и себе, и соседям,  
на балконе «Москва — Воркута»  
мы однажды возьмём и уедем.  
Мы уедем однажды с тобой,  
мы покатимся, будто с откоса;  
нас вагон голубой-голубой  
унесёт, как надежда матроса.  
По волнам нашей памяти, по  
бесконечному морю печали,  
оставляя родное депо  
и стареющих жён за плечами.  
Мы накатим ещё по одной,  
и ещё, и ещё, как бывало,  
и пройдём по стране стороной  
лёгкой рябью девятого вала.  
А потом запоём: тра-та-та,  
тра-та-та запоём напоследок,  
как поёт в пустоте немога  
соловьями обрубленных веток.  
И откроется нам, как сезам,  
как вороны полночные в кроне,  
за окном воркутинский вокзал  
и безмолвие жён на перроне.

\* \* \*

Покойник, подросток, младенец,  
зачатие — плод и вода.  
Я выходец и возвращенец  
из будущего в никуда.  
И это — единственный выход,  
и это — единственный вход,  
не знающий горя и выгод,  
а знающий лишь небосвод.  
За ним — никого, наконец-то,  
за ним — тишина и покой, —  
он передвижения средство,  
котороеечно: «на кой?»  
Опала прибрежная липа,  
опали и тополь, и вяз.  
Я в прошлой — без крика и всхлипа —  
любви, наконец-то, увяз.  
Ты скажешь: — Такая эпоха!  
Живу и не бедствую я,  
как тысячелетняя кроха  
в прозрачной тиши янтаря.

\* \* \*

Пролетающий клин аистиный —  
пуповину, как ножиком — вжик.  
Мы чужие в своих палестинах  
и свои в палестинах чужих.  
Мы в пролёте с тобой? Нет, — в полёте!  
Мы, обнявшись, летим над страной,  
как жена растворённая в Лоте,  
забывая про столп соляной.  
Мы летим на все стороны света:  
Третий Храм — навсегда — Третий Рим.  
И любовь, и разлуку за это —  
ненавидим и благодарим.

\* \* \*

*В. Д.*

Человеку нового не надо,  
человеку старое подай:  
тишину предутреннего сада  
и безмолвье перелётных стай.  
Новой песни старая дороже  
и неповторимей, и родней.  
Он не может без сердечной дрожи,  
вспоминая, говорить о ней.  
Человек с гитарой — так и этак, —  
душу наизнанку, сердце в кровь.  
Вороноём непониманье с веток  
брьзнуло и прилетело вновь.  
Никуда от этого не деться, —  
как ни бейся, что ни говори.  
Человек с гитарой — это детство  
с механизмом памяти внутри.  
Ночь черней плаща Георга Отса.  
Нужно жить, надеяться и любя,  
и тогда поэзия вернётся  
и утешит музыка тебя.  
И по возвращению, как прежде,  
запоёт осенний воробей  
песню о любви и о надежде  
на бескрайней Сретенке твоей.

*Андрей Ладога*

## Графоманская проза жизни

*Три сюжета*

*Таврия, Mr. Colt и капитан Атаманенко*

Тимур Нурпесов, его мастер по укладке напольной и «любой-прочей плитки», сантехник и столяр, в финальный день ремонта выставил его за дверь — буквально.

— Поезжай к маме, а лучше к своей девушке, надо дать цементу схватиться. Будешь завтра ходить по полу и своими, и гостевыми ногами, на твой выбор.

Тимур, заканчивая полы коридора, положил последние плитки у порога, и Капитаров, с какой-то обречённой тоской думая о том, что в сорок лет у него нет девушки, запер дверь, затем вспомнил Софию Андреевну. Капитаров чувствовал, за последний год в учительской настоялось мнение: он должен жениться на Софии. В своём имени «красным учительским карандашом» она подчёркивала именно «и», игнорируя мягкий знак. «Мягкий знак — это русское, а я хочу быть частью великой Европы, к тому же я не хочу быть похожа на Софию Андреевну Берс», — как-то раз после третьей рюмки водки объяснилась София Андреевна, дело было в учительской, ближе к вечеру, отмечали чай-то не запомненный Капитаровым день рождения.

София Андреевна носила в ушах тонкие, африканской крупности серёжки-кольца, которые при любом положении головы имели строгое вертикальное положение; предпочтая усиленное двойное отрицание, она не красила неулыбающиеся губы, имела укреплённую хной мальчишескую стрижку и носила костюмы одного стиля: юбка ниже колен, тесный жакет, облегающий талию и целеустремлённую грудь, и что-то всегда светлое под жакетом. Похоронные очки были параллельны трафаретным бровям.

София Андреевна была разведённым директором их школы, той «девушкой», которая «баба ягодка опять». Несмотря на крупность фигуры, широкий шаг во весь подольный мах и уставной майорский голос, состоявший из прописей, София Андреевна пробиралась сквозь жизнь косогорной козьей тропинкой судьбы. «И в самом деле, — думал Капитаров о Софии и о себе, — дороги лёгкой ровности — это для удачников, не для нас».

---

Андрей Ладога — сценарист, режиссёр. Окончил архитектурно-художественную академию. Автор четырёх книг прозы. По трём из них был снят сериал «Оплачено смертью» (канал «Россия»). Публиковался в журналах «Волга», «Человек читающий» (*Homo Legens*) и «Новый Континент» (Чикаго, США). Член Союза журналистов России. Живёт в Москве.

Предыдущая публикация в «ДН» — 2017, № 2.

Говорили, что будто бы муж бросил её и ушёл к молодой женщине, что сын её якобы отбывал срок в ИТЛ на станции Иковка, что её дочь, ненавидя мать, кажется, ещё несовершеннолетней, стала жить с каким-то взрослым мужчиной. Для директора средней школы такие подробности личной жизни были перебором, поэтому все в школе делали вид, что всё не совсем так, что у Софии Андреевны просто трудная жизнь. А у кого она лёгкая?

Разговоры про них начались, когда «молодой учитель рисования» Иван Капитаров, мечтая о мизерной, но стабильной зарплате, только появился в школе, то есть три года назад. Он — одинокий, она — разведена, так в чём же дело? Затем среди полуинтеллигенции школы прошел слух о том, что якобы Капитаров уже написал портрет директрисы в жанре ню. Перепроверенные сплетни основывались на вроде бы подслушанном диалоге: «Я хочу написать ваш портрет!» — «Только если я буду позировать обнажённой». Эротическая детализировка реплик была как будто бы ироничной, но все понимали серьёзность основы. «Интриги, — думал Капитаров, — да и куда же без них? Без интриг нет жизни, так, одни сорные мелкие бриллианты».

София Андреевна при разговоре с ним чуть наклоняла голову, и линзы её очков закрывались непроницаемыми бликами. Казалось, Капитаров и не знал, какого цвета её глаза, зеленовато-голубые или голубовато-зелёные? «Хотите, я напишу ваш портрет?» — он начнет издалека. «Неужели во мне есть что-то такое?..» — «Есть, безусловно!»

Забавно было то, что он действительно хотел написать Софию Андреевну и именно что раздетой, но в беззащитных очках без бликов и в больших круглых серьгах. Капитаров тщательно обдумывал это действие: фон, музыкальное сопровождение, позы для набросков, темы их разговоров во время сеансов, что было важнее всего в процессе. Обнажённая женщина может говорить с одетым мужчиной только в определённой тональности и на определённые темы. Он хотел писать её в школе, по выходным дням, в этом была особая пикантность: голая директор в одном из классов своей школы.

«Отчего я так дробно разлагаю и додумываю то, на что никогда не решусь? Отчего я что-то придумываю, вместо того чтобы жить по-настоящему? Или мои мысли — это и есть реальная, настоящая жизнь? Что же тогда бытовая каждодневная текучесть?»

Представляя, он режиссировал и их совместное житие, но все эти представления сводились к вспышкам фестивальных мгновений объятий, поцелуев, прикосновений и проникновений. Особенно удачными «стоп-кадрами» виртуальных сцен он жил неделями, думая о том, что всему этому придётся обучать Софию Андреевну. «Обучаем ли захолустный директор? Нужно ли ей это? А мне?» Лишь однажды Капитаров вообразил себе их уставной совместный быт: пробуждение, завтрак, поход в школу, занятия, возвращение домой, ужин, сон, — он ужаснулся, праздник Капитарова неминуемо столкнётся с майорской сущностью Софии Андреевны.

Спустя ещё время Капитаров, ловя на себе укоризненные взгляды, осознал, он уже обязан жениться на Софии Андреевне, потому что этого молча, но выразительно ожидало «всё общество», весь педагогический коллектив школы.

Отгоняя неприятные мысли, он поморщился.

Тимур и Капитаров спустились вниз, Нурпесов погрузился в свой «всё видевший» Ford и уехал, а Капитаров вызвал такси. «Поеду в гостиницу “Москва”, — решил он, — шикану, проведу ночь там». В конце концов, деньги за ночь в гостинице на фоне общей стоимости ремонта, на который он копил пять лет, выглядели ничтожными. К тому же Капитаров вспомнил, как мать многажды рассказывала ему о том, что первый раз

в жизни он пошёл «в годик», и пошёл он именно в «Москве», когда в 1975 году их семья вернулась в Курган из Урая. В такси Капитаров думал о затухающих кругах смыслов, что расходились от слов, например, он думал о нелепости своей фамилии, ни Капитанов, ни Капиталов, а именно что среднее и бессмысленное: Капитаров; ещё он думал о том, что замысловатое слово «Урай» состоит из наложений «ура» и «рай». Потом комом подкатило невозвратное воспоминание — детство — всё, целиком: тёплое море, молодые родители, летний отпуск, Таврия и всё это — СССР. Когда Капитарову было особенно плохо, он на секунду закрывал глаза и повторял про себя навечное полынное: «Таврия».

— Да, только на одну ночь, — ещё раз терпеливо подтвердил он.

Капитаров оформлялся у стойки, когда за окнами пошёл дождь, навевая английские детективные мысли и добавляя домашнюю уютность тяжёлой медлительной блондинке со всепонимающим — в окрестностях её жизни — унылым взглядом серых глаз. Манекенно двигаясь, блондинка протянула ему ключ от номера, надев его кольцом на безымянный палец правой руки. В этом отработанном жесте было что-то «оговорочное зигмундфрейдовское». Деликатно касаясь, Капитаров принял ключ и спросил про ресторан.

— Ещё успеете, — завистливо вздохнула мягкой обширной грудью блондинка, — если поторопитесь. — Затем, отметив середину паузы точкой, добавила: — И помните. Номер на одного.

— Я не забыл, — он опять подумал о том, что никакой девушки у него нет, не считая Софии Андреевны. На груди блондинки горизонтально лежал пластиковый прямоугольник с надписью будто бы готическим шрифтом: «Сталианна». Прочитав и даже осознав, Капитаров всё же не смог выговорить это имя. Стальная Анна?

— Приятного аппетита, — скривившись, улыбнулась Сталианна своей самой приятной улыбкой.

Капитаров занёс в свой номер жалкий сиротский пакет с мяты, но чистой пижамой, девственной зубной щёткой и томиком Миши Лермонтова и спустился вниз.

В ресторане придорожно пахло пережаренной рыбой, пельменями из столовой и накрахмаленными бесчтное количество раз сырватыми скатертями.

— Чем будем баловаться, — юная официантка, подавая меню, решила быть остроумной.

— Седлом серны, — мрачно сказал Капитаров.

Не зная, как реагировать на слова Капитарова, официантка на всякий случай поджала губы:

— У нас приличное заведение.

Тут же выяснилось, что в обширном меню были только две действующие позиции: жареная скумбрия и пельмени. Капитаров выбрал пельмени со сметаной и томатный сок.

— Есть ещё пирожные и кофе, — спасая образ «приличного заведения», обречённо присовокупила официантка.

— Нет, сок.

Ожидая заказ, он рассеянно осмотрелся вокруг и вдруг споткнулся взглядом об этот предмет. Не поверив себе, Капитаров с осторожным вниманием оглянулся по сторонам, убеждаясь в том, что с этого угла обзора предмет мог видеть только он. Да, собственно, в ресторане было считанное число посетителей. В углу сидел какой-то мужчина с нечитаемым, неразборчивым «докторским» взглядом бегающих глаз. Вероятно, из чувства протеста, мужчина одновременно осваивал жареную рыбу и пельмени с уксусом. Пожилая семейная пара — пельмени, сметана. Мама с дочерью — кофе, пирожные.

Никто его не видел, а между тем он вызывающе торчал из игривой, явно ему не подходящей тесной сумочки. Сумочка висела на спинке стула. На соседнем стуле, широко раздвинув стройные ноги в белых тонких брюках, сидела сосредоточенная девушка лет двадцати пяти. На девушке была белая блузка, сквозь которую флюорографично просвечивал бюстгальтер. Вероятно, слушая музыку — из её розового девичьего уха широким плавным жестом вился белый шнур наушника, — девушка в лёгкий тик постукивала альми туфлями на высоких каблуках. Чёрные волосы её были схвачены в тугой хвост. Несмотря на ограниченные опции меню, энергично двигая розовыми ушами, девушка даже не ела, а поедала солянку. Время от времени девушка откидывалась на спинку стула и, как будто бы перед чем-то решительным, вскидывая попеременно лиановые руки, упруго проверяла на прочность свой хвост.

Капитаров не мог ошибиться, одной из любимых его книг была «Десять лучших пистолетов мира». Мечтая о чём-то несбыточном, он обожал рассматривать чудеса инженерной мысли, произведения, поражающие на смерть проработанностью деталей, — машинки для убийства.

Из элегантной сумочки девушки торчала рубчатая рукоять. Судя по рукояти, это был армейский Colt. Colt тускло отсвечивал, и Капитаров понял, пистолет настоящий, всё настоящее в жизни имеет тусклый отблеск. Настоящность никогда не бросается в глаза.

«Дура, — думал Капитаров, — засунь его глубже, ведь могут увидеть!» Затем Капитаров зачем-то вспомнил где-то читанное, нелепое: «Осознав себя, мальчики всю жизнь безотчётно боятся кастрации, а девочки, осознав себя, понимают, что они уже кастрированы». Потом подумал: «Многие женщины в штанах сидятrudиментарно похабно, будто бы по-мужски, широко расставляя ноги».

Пистолет никак не вязался с легкомысленным, утончённо прозрачным нарядом девушки.

«Где камуфляж, шлем, — думал Капитаров, — бронежилет, наколенники? Кто она? Что она здесь?»

Капитарову принесли пельмени. Девушка встала, взяла сумочку, вынула из неё кошелёк. Только после этого, поняв свой пистолетный промах, закусив губу, она глубже сунула Colt в сумочку. Девушка положила под блюдце деньги и, ни на кого не глядя, неторопливо вышла вон. Не чувствуя вкуса пельменей, Капитаров проводил её взглядом, как на фронт, до последнего. Как крышка жуткого, «дикозападного» вертикального гроба, бесшумно закрылась дверь. В ресторане потемнело, дождь за окном пошёл уже с неприязненным хлёстким звуковым сопровождением.

«Что она? Кто она здесь?» Ему стало не по себе. Странный едок рыбы и пельменей улыбнулся про себя продолжительно растянутой улыбкой. Капитаров отчего-то твёрдо понял, — этот человек обречен.

После ужина Капитаров, вспоминая девушку с пистолетом, зарифмовав ливень тёплым душем, лёг в постель и взял томик Лермонтова. Но в неравной схватке девушка легко переборола поэта, и Капитаров думал только о ней. «Кто она? Что она здесь? Зачем это мне?»

Штурмовой шум где-то по соседству начался незаметно. Неразборчивые голоса, стук, что-то деликатно звякнуло, кто-то охнул, затем Капитарову показалось, что на пол падают большие куски мяса. Кто-то вопросительно промяукал: «Мать мою?!» Кто-то сдавленно ответил: «Чёрт драл!» — и вдруг раздался короткий, душераздирающий крик. Всё это, кажется, происходило на соседней стороне обширного коридора.

Из-под закрытой двери Капитарова пробивался пыльный равнодушный свет, создавая ощущение доступности и незащищённости. Капитаров встал с постели,

---

*Валерия Крутова*

## Время не учит

*Рассказы*

### *Скелеты*

Стояли скелеты в шкафу рядком, изредка поглядывая друг на друга, — а ну, кто следующий пойдёт? Переглядывались иногда — кто следующий войдёт? Не понимали, зачем их держать здесь, взаперти, если всё равно однажды, скорее всего, в следующую пятницу, одного из них выпустят наружу.

Марина выпускала их по-разному. Иногда осторожно, тихонько приоткрывая дверцу шкафа. Иногда распахивала обе створки, неаккуратными движениями разбрасывая содержимое — содержимых, — чтобы вытянуть за лучевую кость счастливчика и закрыть шкаф, пнув дверцу изо всех сил.

Высвободившийся скелет в тот день или вечер обрастил мясом, наделялся памятью, чувствами, эмоциями. Он становился настоящим. Не прошлым, наконец-то. Марина вздохала, смущалась, иногда плакала и прощалась со скелетом навсегда.

Коллекционировать кости проступков она начала давным-давно. Её первым экспонатом стала кошка, которая родила вчера котят, которых не-на-что-было-кормить-человечих-ртов-дошиша. Вместе с дедом они упаковали детей Мурёны, слепых, похожих на шерстяных слизней, в ведро. Потом дед ушёл в ванную, пошумел водой, скрипнул дверью во двор, а потом ею же хлопнул, возвращаясь и потирая руки.

— Котят слепыми топят, — прохрипел дед и ушёл в кухню. На утро он выльет мёртвую воду из ведра в отхожую яму на краю двора.

Так скрипнула и хлопнула дверца шкафа, принимая в себя первый скелет Марини. Скелеты слепыми хранят. И немыми.

Вторым скелетом стала подножка детсадовской подружке Лильке, с которой они даже спали на соседних кроватях и вообще — не разлей вода. Лилька пришла в платье цвета голубой мечты Марини. С оборками, вуалью поверх атласной юбочки и кружевами вокруг шеи. Лилька так радовалась и всё время омерзительно кружилась, громко хохоча. В другом платье Лилька не была такой громкой и счастливой.

---

*Валерия Крутова (Макеева Валерия Валерьевна)* родилась в 1988 году в Чимкенте (Казахстан). Участник Форумов молодых писателей «Липки». Живёт в Алма-Ате.  
Предыдущая публикация в «ДН» — 2020, № 11.

На прогулке Марина уговорила Лильку и ещё шестерых девчонок поиграть в догонялки и, когда все разыгрались до того, что уже не замечали ничего вокруг, выставила ногу перед пробегающей Лилькой. Та упала, уже на лету подключая рёв, словно предчувствовала скорую кончину платья.

Так в шкаф вошёл второй скелет, нелепо выряженный в голубые атласные лохмотья.

Оба первых скелета так и остались в шкафу навсегда, потому что не было в них ничего интересного, не приходились такие скелеты на разговоры по душам за бокалом вина, да и личный психотерапевт Марине этими скелетами не интересовался. Лохмотья на одном из скелетов уже давно истлели, а сам он, привалившись к первородному брату, дремал без надежды на пробуждение.

Первородный же, несмотря на то, что не интересен был никому, частенько громыхал костями и скрёб лучевой по душе Марине, выросшей и ставшей волонтёром в приюте для бездомных животных.

Скелеты наполняли шкаф во имя выживания. Говорят же: умолчи, не навреди. Не навреди себе, а потом уже близким. Напичкай себя событиями и воспоминаниями — не дай им ходу. Правда, если напьёшься и дашь нечаянно, ничего страшного. Со всеми бывает. Этой странной логике взаимоотношений между скелетами и их создателем Марина следовала неукоснительно.

Создавала, прятала, теряла ключ, чтобы вспомнить через какое-то время, что дверцы шкафа всё равно сломаны, а скелеты стоят себе рядом, ждут высвобождения. И можно было подумать, что процесс этот вечный — появление новых, расформирование старых, слёзы в процессе, муки совести и очередное надёжное плечо. Каждому скелету по плечу!

И можно было бы так подумать, да. Но однажды появится главный, последний скелет, который вышибет всех остальных, кроме первого, притаившегося в дальнем углу. Он будет главным — далёким от испорченного платья и разбитой маминой вазы. Он обязательно будет связан с предательством или обманом, он повлияет на чью-то жизнь, и совсем не в лучшую сторону. Он будет таким упрямым, что даже в самые пьяные пятницы не вырвется. Он даст начало новой жизни Марине: «в жизни не проговорюсь».

Главный заколотит двери изнутри, лишив Марину права подходить к шкафу со своими глупыми глупостями, со своими бедками и обидками, со своими штрафами и изменениями. Он будет сильный, сильнее всех тайн на свете, и хитрый, хитрее всех психотерапевтов. Марине не по плечу будет справиться с ним. Она перестанет биться в дверцы шкафа и отодвинет его подальше, совсем забыв и про первый, притаившийся. Который, собственно, и положил начало мукам совести — показал, что всё тёмное и тёмнейшее можно хранить-хоронить. Про тот, про который никто не узнает, ведь даже лучевой он не сумеет поскрести, сдерживаемый более новым братом.

Потом изменится коннотация поступков. Скелеты потеряют свою актуальность и так и будут стоять, подпёрши дверь изнутри — уже вместе. Чтобы никого не впустить. И за этим делом и Марину грызть забудут.

А пока что, не помышляя о будущем, стояли рядом скелеты в шкафу, переглядывались в ожидании следующего выхода.

## Лапочка

Лапочка! Господи, какая же ты лапочка. Ты вся — словно в хрустящей подарочной упаковке. В матовой обёрточной бумаге, потому что глянец уже не в моде. Ты вся — пастельных оттенков, потому что смерть не терпит красок. Ты вся — словно полна воздуха. Того воздуха, что мы с момента твоей смерти никак не можем найти. Мне хочется наклониться к тебе — нос к носу, упереться взглядом в закрытые, желтеющие веки, похожие на пекарскую бумагу под готовым кокосовым печеньем. Дотронешься до бумаги, и она тут же в хлопья.

Я не знала, что смерть может быть такой красивой. Господи, какая же ты лапочка.

Ты всегда такой была. Ещё в детстве ты начала собирать комплименты от друзей и знакомых семьи, а то и вовсё от случайных прохожих. Ребёнок с голубыми, как мечта, глазами. Сейчас о таких детях грезят блогеры, потому что дети с миленькой внешностью хорошо продаются. Не сами, конечно. Они хорошо продают родительский блог.

Если бы ты была чуточку глупее, то могла бы и сама вести блог. Знаешь, лидеры мнений или инфлюенсеры, чёрт их побери, зарабатывают больше врачей. Больше тебя и меня вместе взятых. Но ты бы никогда не согласилась продавать воздух и выворачивать трусы наизнанку перед огромным количеством людей. Выворачивать их грязными, потому что именно это привлекает внимание.

Помнишь, мы повесили на люстру в комнате красные стринги? Они провисели три года перед первой стиркой. По каким-то и чьим-то обычаям, эти трусы должны были привлекать деньги. Мы ими ешё и любовь пытались привлечь. Наши кровати стояли рядом, между — тумбочка. Одна на двоих. Вторую было просто некуда воткнуть. В нашей комнате едва хватало места на двоих. А сейчас, приезжая в родительский дом, я замечаю, что места хватало всегда, просто мы были какими-то полными тогда: полными надежд, планов, идей, любви и очарования жизнью. А сейчас пустые, и места в комнате хватило бы на четверых.

Даже подумала сейчас, что тогда дышалось не так — порывисто, мелко. Некуда было вдыхать. А сейчас вдыхаю, и гул внутри. Могу вдыхать долго, лишь на чуть-чуть наполнив себя кислородом.

А ты — всё. Хотя воздуха и жизни в тебе побольше, чем в любом из нас.

Я не нравилась твоему мужу, он говорил, что я слишком дурно на тебя влияю. Ты не знала, но каждый раз он пытался повлиять дурно на меня. Задевая ребром ладони то зад, то грудь. Его ладони были везде. И я всё время ждала хлопка. Не знаю, почему не хлопала — не взрывалась, не лопалась. Я так тебе и не сказала ничего, а когда ты поймала его за потную ладонь на одной из твоих коллег, я выдохнула из гулкой себя часть воздуха и успокоилась.

У второго твоего мужа потели пальцы. Я никогда не знала, что они — умеют это делать. Он играл в какую-то сумасшедшую войну на смартфоне, а ты искала ему *напальчики*. «Шапочки» на рабочие пальцы, чтобы ничто не могло помешать войне. Ты рассказывала, как без шапочек этих ему приходится макать пальцы в тальк. В детскую присыпку.

А я снова почему-то не лопалась от того, что существование присыпки в твоём доме давно уже должно было оправдываться наличием детей.

Муж с потными пальцами обещал удалить игру. Обещал, что станет завоевателем (что бы это ни значило) и удалит. И эти шапочки, которые мало того что стоили,

как смартфон, так и достать их было сложно, так вот эти шапочки ему бы ой как помогли. Так и говорил. А потом удалит. Честно-честно удалит. И работу найдёт.

А ты так устала по утрам убирать с дивана рассыпанную присыпку, что увлечённо искала эти шапочки в свободное от работы время. Вместо того чтобы спать. Или детей рожать. Или с племянниками играть. Или крестить их. Или. Или. Или. Ты искала эти шапочки на пальцы для игры на смартфоне.

Господи, какая же ты трогательная лапочка, пытавшаяся поймать немного любви. Немного неравнодушия.

В поликлинике, где работала, ты дарила неравнодушие всем, пытаясь доказать, что врачи не звери. Что врачи — бестолочи. Что врачи — отличные ребята и девчата по своей сути. И они очень хотят помочь. Они просто устают, ошибаются, иногда делают глупости. И не всегда находят время на повышение квалификации. Шапочки ищут.

Дарила неравнодушие и искала его везде. Даже во мне. Но я молчала и не лопалась, наблюдала. И, получается, проходила мимо, думая, что помочь себе и другому в жизни может всё — даже красные трусы на люстре, — но не человек.

А ведь только он и может. Но иногда он это делает потом, когда уже перестаёт вдыхать, но не теряет жизни. Спасибо тебе, лапочка.

## Трецины

Глаза цвета битой карамели, губы в трещинах — вся ломаная-переломанная, говорит зеркало. Не врёт. Говорит тихо сначала, постепенно увеличивая звук, пока внезапно не ударит набатом по ушам. Вся ломаная-переломанная, будто не жила-не прожила, а по сценам-годам мелькающим, еле коснувшись пальцами ног, пробежала. Проплыла, изламывая то руки, то ноги, пока однажды пополам не переломалась.

И остановилась.

Остановилась, чтобы вспоминать каждую прожитую, не пережитую сцену. Словно каждую незавершённой оставила. Там не досказала, там не доделала. Там не дописала. Там, там, там. Опять бьёт набат. Всё там осталось, ничего здесь нет.

Он предложил:

— Давай в парк?

— Ага, — ответила.

А потом целовались, пьяные, забыв, что руки и губы солёной рыбой пахнут. Рыба снилась потом обоим много лет, опуская в нижний мир. Туда, где оба оставили капсулу времени. Её оставляют затем, чтобы вернуться. А они зачем оставили?

Он предложил:

— Давай вместе жить?

— Ага, — ответила.

А потом уехала. Оставила и его, и рыбу, и капсулу времени. Однако рыба по-прежнему снится, вынуждая раскапывать капсулу времени руками, забивать ногти землёй нижнего мира. Раскапывать там, закапывая здесь. Глупая какая. Непрожитое — не пережить. Непрожитое так и останется там. Там, там. Набат снова. Никуда не деться от него.

Он предложил:

— Давай вспомним? Есть же, что?

— Ага, — ответила.

---

*Валентина Петрова*

## Формы насилия

*Рассказы*

### *Кислород*

Я никогда бы не смогла мыть посуду в перчатках, и я не думаю, что со мной что-то не так. Чистая тарелка под пальцами скрипит, а в перчатках ты так и не поймёшь, сделал ли тарелку чистой. Говорят, что вода и мыло «портят ногти и руки», но я не понимаю, что это значит. В любом случае, утром в списке дел, который дала мама, посуды не оказалось. Хотя сегодняшний день всё равно будет сложным. На завтрак не омлет, а овсянка, а перед завтраком придётся помыться. Не слишком приятно. Мы так и не убрали зеркало из ванной, хотя никто из нас ему не рада.

Когда я вижу себя в зеркале — без одежды, — я убеждаюсь, что меня ничто не укрывает, кроме кожи. Вижу что-то несчастное. И неопределённое. Рёбра торчат, а задница большая и мягкая. Плечи костлявые, но очень широкие. Я никак не могу понять, какая я: толстая или худая, красивая или нет. Только голова кружится. Хотелось бы знать, что видят в зеркале другие женщины — увидеть их в зеркале, — но в раздевалках всегда так неуютно. И плавать я не умею. Вода тоже какая-то неопределенная, вода страшная. Я вспоминаю, что тоже смогу стать водой, если кто-нибудь не крикнет: «Да ты тонешь! Плыви!»

После мытья мы собирались в магазин. Его, правда, не было в списке дел. Я бы предпочла следовать списку, иначе вообще непонятно, зачем он нужен. Но мама заметила, что осталось всего девять яблок и нож уже тупой, поэтому магазин необходим. Прямо сегодня, сейчас.

— Может, сама сходишь? — предложила я. Мне не слишком нравитсяходить с ней в магазин. Особенно зимой.

— А кто потащит пакеты?

— Я могу дать тебе свой рюкзак. Он удобный.

— «Орёл» — вместе, «решка» — нет, — предложила мама. Мы давно договорились, что никак не можем договориться. Поэтому решаем споры монеткой. Даже там, где спора нет. Например, мне всё равно, делать ремонт в этом году или в следующем. Мне просто здесь не нравится.

---

*Валентина Петрова* родилась и живёт в Москве. Окончила факультет журналистики МГУ. Печаталась в журналах «Сибирские огни» и Homo Legens. По мотивам рассказа «Почитай отца своего» снят короткометражный фильм «Я остаюсь» (реж. Григорий Коломийцев).

В «Дружбе народов» публикуется впервые.

— Кидай!

Мама подкинула монету, а я поймала. Правда, мы чуть не столкнулись. Она, а значит, и я — худые и неловкие, а это вот что значит: битые кружки, падающие книги, голени в синяках, как у алкоголиков. Только без капли алкоголя.

— «Орёл». А ты поможешь мне застегнуть пальто, мам?

— Ты его третий год носишь уже.

— Но я же знаю, что ты мне поможешь.

— Конечно, пока я жива, — мама вздохнула. Она всегда вздыхает, когда говорит о своей смерти. Будто все как-то отменили смерть, одна она не справилась и теперь вынуждена однажды умереть. Если судить по «Отче наш» и кладбищу, куда мама водит меня к бабушке, — бог хочет, чтобы мы умерли, вот и вся божья воля. Что мы делаем, пока живём, его не очень интересует.

Мы почти дошли до маленького магазина, когда мама решила пойти в большой. И мы поскандалили. Она говорит: в маленьком магазине нет ламп. Я говорю: ламп вообще не было в списке! К тому же в «Карусель» нужно идти не по той стороне улицы, где мы сейчас. У меня два аргумента, у неё один. Вроде бы я права, поэтому ною всю дорогу до большого магазина.

— Меня на этом светофоре чуть не переехали, хотя горел зелёный! — напоминаю я. — Это самое жуткое место в районе!

— Просто смотри по сторонам, — смеётся мама. Она легко относится к светофорам, спискам, инструкциям, она ездит на работу на метро и перебегает на красный. По-моему, она ничего не боится. Когда я перестала считать себя приёмной, мне стало ещё сложнее это понять. Почему у неё родилась я? Возможно, она работала на ртутных заводах? Дышала отравленным воздухом? Вызывала в детстве Пиковую даму и не сумела её прогнать?

Магазин, как всегда, белый и светлый. За каждым покупателем по пятам следует уборщица и стирает его следы. За нами с мамой идёт одна — я давно отказалась понимать, как здесь устроены отделы. Они вроде бы параллельны друг другу, но не совсем. Если бы только посмотреть сверху... На карте Флоренции, которую я видела в гостях, все улицы сходятся чуть-чуть под углом — во Флоренции, кажется, нет ни одного ровного прямоугольника. Такая прогулка должна путешественнику с ума сводить: ты всегда выходишь немного не туда.

Примерно то же у нас в «Карусели». Сбитые с толку покупатели плачут в рис и даже по собственным следам вернуться не могут. Одна только мама (и, может, другие мамы тоже) способна пройти этот лабиринт. «Там, где шампунь, недалеко будут носки, понятно? В этом есть логика», — объясняет она. Нет, мама, в этом никакой логики нет.

Мы надолго застреваем в молочном отделе: нужно проверить все сроки годности, чтобы у нас дома было хоть что-то свежее. У молока из орехов (которое, по сути, абсурдно) стоит мужчина. С тёмными волосами в хвостик и нежным лицом. Я взвешиваю его глазами, измеряю, трогаю, но так и не могу понять: это хорошо или плохо? Мне нравится или нет?

— Мам, — спрашиваю шёпотом, — вот тот мужчина, он красивый?

Конечно, я ошиблась. Мама открыто поворачивается к нему, а он, почувствовав взгляд, — к ней. Они рассматривают друг друга, пока мужчина не решает, что молоко интереснее моей матери. А та смеётся и громко говорит:

— Милая, ему лет двадцать!

— То есть некрасивый?

— Ты в два раза его старше. Даже не смотри на таких. Ты для них мебель. Только не обижайся, кто тебе ещё скажет правду? Да он ещё не мужчина. Зато перед ним весь мир лежит.

Парень, кажется, не чувствует, что перед ним лежит весь мир. Он очень низко склонил голову, но не видит упаковку, которую держит в руках. Мама и вправду говорит громко. Его так жалко, будто на его месте я. Впрочем, я и так на его месте. Зато вместе с ним.

Мама наконец-то выбрала молоко и творог, и моя корзина становится тяжелее. В ней лежат:

1. Зубная паста
3. Лампочки (которых не было в списке)
4. Масло
5. Молоко
6. Творог
7. Хлеб
8. Яблоки.

Я жду возле кулинарии, когда мама принесёт «2. Капусту», и смотрю, как люди покупают кофе. Бариста совершает одни и те же действия, касса издаёт один и тот же звук. Очередная покупательница высыпает в кофе пол-пакетика сахара и берёт деревянную палочку. Я вдруг вытягиваю шею: она трижды размешала кофе по часовой стрелке и начинает мешать против часовой! Это очень правильно. Это по инструкции. Это обещает, что всё действительно будет хорошо.

Точно не знаю, когда её ум начал рассыпаться. Видишь ли, она внимательнее следила за мной, чем я за неё. И так, мне казалось, было правильно: родители следят за детьми. Был вечер, когда она не составила заранее мой список дел и сочинила его на ходу. А на следующий день она вдруг поставила на поднос кофе, молочник, печенье, мёд — и понесла к компьютеру.

— Что ты делаешь! — я, конечно, очень испугалась, да кто бы не испугался?

— А что?

— Мы не носим к компьютеру кофе!

— Почему?

— Потому что кофе нельзя носить к компьютеру! Только воду и сок!.. А, ты шутишь? — вдруг дошло до меня. Я и сама так шутила с ней: например, приносила вместо соли соду. Мама посмотрела на меня, склонив голову так, что под серыми глазами появились серые тени. Кажется, она не надеялась, что я оценю шутку, — такое у неё было горестное лицо. Но я всё равно засмеялась.

Был ещё день, когда она повела меня в магазин, но пошла не по той стороне улицы. Не мне назло, как тоже бывало, — она, кажется, совсем не думала, что делает что-то не так. На этой стороне первое весеннее солнце — и хорошо, пойду там. Красная куртка под светом отливала оранжевым, жёлтым и белым, будто мама горела. Я следила за неё глазами с правильной стороны улицы и думала, как так выходит: она всегда на солнце. Я всегда в тени.

Вернувшись, я первой села за компьютер и сразу открыла её дневник. Раньше он был нашим общим, но я перестала туда писать, а новый файл заводить поленилась. Мне хотелось — да и сейчас хочется — свободы. Есть же где-то другая жизнь. Когда смотришь «Орёл и решку» или читаешь какие-нибудь сплетни о звёздах в Интернете, можешь туда заглянуть. Там тоже подбрасывают монетку, но она значит что-то большее, чем «когда вызывать сантехника». Кричат, а потом расходятся навсегда, не примиряясь друг с другом.

---

*Ксения Крушинская*

## Два рассказа

### *Статус кво*

Я зашла в почту, чтобы перечитать то письмо ещё раз. Ещё раз перечитать письмо, которое пять дней назад ему написала. Второпях утром, за чашкой кофе со сливками «Домик в деревне» (без яичницы и без бородинского с маслом). Написала одним большим пальцем на экране айфона. За какие-то несчастные четыре с половиной минуты, в которые я, кажется, не дышала, а просто неслась куда-то, а в ушах гудел ветер.

А потом надо было нажать кнопку Send. И тут я с разбегу ударилась о бетонную стену. А может, кирпичную. Шершавую. Send — Stand. Stand — стены — стена. Бестелесность вдруг исчезла. Стало больно.

Мне бы хотелось, чтобы этой кнопки не было. Чтобы буквы, которые я до этого производила без остановки четыре с половиной минуты, поступали к нему прямо в голову.

Я сидела несколько минут, отдирая себя от стены. Потом развернулась и медленно побрела от неё восвояси. Назад. «Сохранить письмо в папке “Черновики”»? Сохранить письмо в папке «Черновики».

Я знаю, почему спустя пять дней я вдруг решила перечитать письмо. Собакам нужно, чтобы с ними гуляли; кошкам — чтобы их гладили; растениям — чтобы их поливали, а письмам — чтобы их читали.

Я уже знала, что точно его не отправлю. Что из «Черновиков» никогда не удалю — тоже знала.

В моих «Черновиках» было людно. Заготовки сопроводительных для каких-то вакансий. Обрывки рабочих писем. Недописанное поздравление кому-то с днём рождения. «Прошу прощения, но...»; «...желаю всегда оставаться...», «...рассмотреть мою кандидатуру на...». Помойная куча оборвых. Но то самое письмо я увидела сразу: оно лежало как бы поверх этой кучи, поэтому сразу привлекало внимание. Без адресата: я не стала писать адрес, чтобы случайно не отправить. Первая строка видна сразу, как заходишь в папку, словно высовывается пятка из-под одеяла: «Привет! Долго собиралась с мыслями, чтобы тебе это написа...»

---

*Ксения Крушинская* родилась в Москве, окончила факультет журналистики МГУ. Рассказы публиковались в сборниках малой прозы «Пашня-3» и «Твист на банке из-под шпрот». Предыдущая публикация в «ДН» — 2020, № 12.

Внезапно показалось, что мне за шиворот кто-то запустил две сотни муравьёв. Я поняла, что перечитать письмо не в состоянии. Это было бы всё равно что посмотреть видеозапись того, как кто-то неизвестный разрезает меня на куски и расфасовывает по пакетам для мусора. Отвращение к самой себе, смешанное с чувством трагической непоправимости. Не могу не перечитать. Не могу удалить. Не могу не удалить. Не могу. Не.

**Расул, 27 лет**

— Я к Катьке на работу пришёл выпивши, конечно. Ну, пол-литра, может. Да она привыкшая. И вообще, выпьешь когда, о любви как-то легче. А пока я к ней в салон её — она же парикмахерша у меня, — я во дворе ПТУ бывшего пошарился. Топчусь, топчусь, вижу там хренатура такая здоровая: «Я люблю Стерлитамак». Но вместо «люблю» такое офигенское сердце красное, железное. Я подумал, во, Катьке его принесу, чтоб шары у неё выпали — типа, вот тебе, гадина, сердце моё, видишь, гадина, бери, давись.

Корячился я с ним, наверно, часа полтора. Разок ещё за добавкой в палатку сбежал. Догнался, и как-то оно легче пошло. Отвертел эту хреновину, взял, понёс сердце Катьке. Иду, оно такое большое у меня в руках, красное. И так мне было хорошо, когда шёл с сердцем, красным, а прохожие на меня плялились. Даже стихи вспомнил, ещё из школы. Есенина.

Пришёл к Катьке в салон. Сую ей его, она меня матами кроет. Начальница её пришла, орёт, что я клиентов распугиваю. Какой-то мальчик-бегайчик начал на телефон снимать. Катька, вижу, типа злая, а сама ржёт, смехом давится. Я ей пою: «Ka-a-атя, Катери-и-на».

Потом — финита ля комедия — приехали менты. Скрутили. Теперь хулиганство шьют и кражу. Сердце забрали, увезли — вещдок, говорят. Короче, я щас под подпиской. Катьке каждый день звоню. Она трубку то не берёт, а то берёт. Чаще берёт.

Чтобы не открывать то самое письмо, я стала скроллить содержимое папки «Черновики»: вверх-вниз-вверх-вниз-вниз-вниз-вниз-вниз. Я обнаружила ещё больше старых неотправленных писем. Вот, например, письмо маме, в котором я пыталась объяснить ей, почему не приеду в очередное воскресенье: «Мам, там будет дядя Лёша, ты же знаешь, мне тяжело даётся общение с ним... Человек других взглядов... Устаревшая система ценностей». Письмо я не отправила, на обед приехала.

Потом — наткнулась ещё на одно. Павлику, который жил в Питере. Я жила в Москве. Я и сейчас в ней живу. С Павликом мы переписывались и иногда ездили друг к другу. Но переписывались — больше. Однажды он написал мне, что понимает любовь как влюблённость, которая не промазала мимо цели. «*Ну, то есть*, — писал он мне, — мы влюбляемся всегда в образ, в несуществующую химеру. И вот если так повезёт (или, наоборот, не повезёт — тут как посмотреть), что реальный человек будет похож — ну, хотя бы процентов на 80 — на ту химеру, к которой мы испытываем чувства, можно считать, что наша влюблённость попала в цель. Всё совпало. Тогда эта попавшая в цель влюблённость может начать перерождаться в любовь. Как сперматозоид и яйцеклетка. Если у них получилось соединиться, из клетки постепенно вырастет человек».

Мне понравилась фраза про человека, который вырастает из клетки. В ней есть много разных смыслов. Хотя не знаю, вкладывал ли их туда Павлик намеренно. В «Черновиках» лежало моё последнее — неотправленное — письмо Павлику. «Прости. Я не уверена, что мне стоит приезжать в шоне. Моя жизнь как будто балансирует на острие лезвия. И если я опять приеду, я потеряю равновесие. А равновесие

для меня всегда было очень важно. Даже когда я шагаю по острию. Лучше быть разрезанной на две, чем упасть. Думаю, ты меня поймёшь. Ты ведь тоже любишь рассуждать об опасных вещах, вроде стрельбы по мишеням».

### Артём, 33 года

— Я был влюблён в свою коллегу Зою долгое время. В какой-то момент я решил, что пора действовать и начать каким-то образом проявлять свою любовь. Я считаю, что, если вы любите человека, он обязательно должен об этом знать. Иначе любовь пропадает зря и может прокиснуть как суп, который никто не ест, и в нём из-за этого заводятся бактерии.

Первого пупса я купил в переходе по дороге на работу. Это был пупс-девочка. В белом платьице и с медно-рыжими короткими волосами. Я пришёл на работу раньше всех и положил пупса на Зоин стол. Потом я стал делать это каждый день. Я покупал пупса — продавщица уже запомнила меня и каждый будний день ждала с новым пупсом наготове (там были и девочки, и мальчики, и пупсы непонятного пола), — приходил первым в офис, клал пупса Зое, прямо возле клавиатуры её компьютера.

Сперва Зоя не понимала происхождения пупсов на своём столе. Но как-то раз меня заметила за дарением пупса уборщица и рассказала Зое. Зоя подошла ко мне на кухне, когда я готовил себе кофе в капсульной кофемашине и спросила, зачем я каждое утро кладу ей на стол пупса. Я ответил: «Не знаю. Наверное, потому что люблю тебя». Она смотрела на меня очень долго и очень странно, а потом развернулась и ушла. На следующий день меня вызвали в отдел кадров и попросили написать заявление на увольнение по собственному желанию.

С Зоей мы больше никогда не виделись. Когда я иду по переходу, стараюсь как можно быстрее пройти мимо киоска с пупсами. Мне кажется, продавщица каждый раз пытается поймать мой взгляд.

Я закрыла ноутбук и решила выйти во двор подышать свежим воздухом. Пока я ходила кругами вокруг детской площадки (на ней было пусто и сумеречно, как на выцветшей фотографии, если не считать двух оставленных кем-то банок из-под пива Lowenbrau), в голове крутились строки из того неотправленного письма ему. На самом деле, мне не нужно было видеть это письмо, чтобы постоянно его перечитывать. Мой внутренний голос постоянно на репите читал мне его, как аудиокнигу. «Привет! Долго собиралась с мыслями, чтобы тебе это написать. Мне кажется, я чувствую к тебе что-то. И это что-то с каждым днём всё больше — растёт и наполняет меня изнутри, как вода губку. От этого я тяжелею, поэтому не могу больше держать всё в себе. И я подумала, может, ты чувствуешь что-то похожее. Хотя бы очень отдалённо. Если да, то тогда мы могли бы...»

Я села на скамейку. Теперь вместо воображаемых муравьёв за шиворот мне заползал колючий сумеречный холод. Я принялась раскачиваться из стороны в сторону, как делаю с детства, когда какая-то мысль не даёт покоя. Я раскачивалась и думала о том, что любовь — такое же проявление жизни, как, например, смерть — ваша или близких. Или рождение. Или болезнь. Или выигрыш в лотерею. И ты либо что-то делаешь в ответ на эту зародившуюся в тебе любовь — прыгаешь с моста, крадёшь металлическое сердце из парка, женишься, выходишь замуж, обжигаешь себе руку зажигалкой, даришь купленных в переходе пупсов или хотя бы просто говоришь о ней, о своей любви, — либо закрываешься от неё, сохраняешь статус кво, отказываешься взаимодействовать с жизнью.

Наверное, я отказывалась.

**Ника, 16 лет**

— Мы стояли с Арсением у меня на лестничной площадке, когда он предложил нам расстаться. Он сказал: «На время». Но я знала, что он имел в виду «навсегда». Тогда я попросила у него зажигалку — типа, хочу закурить. А сама зажгла огонь и молча поднесла к нему ладонь. Мне показалось, все звуки разом куда-то пропали. Осталось только изображение. И я видела чётко — как будто крупным планом, — как у Арсения расширяются зрачки. Выбежали соседи. Мне потом сказали, я дико орала, но я этого не помню. В моей голове в тот момент было очень-очень тихо.

У меня теперь ожог третьей степени. Говорят, шрам останется на всю жизнь. Вчера Арсений принёс мне в больницу цветы и мармелад «червячки» Haribo.

По пути домой я зашла в магазин за мармеладом «Червячки Nagibо». Дома за ноутбуком я открыла упаковку, стала жевать мармелад. Снова зашла в почту, открыла папку «Черновики», нажала кнопку «Выбрать все». Возле каждого неотправленного письма появилось по синей галочке. Затем я нажала «Удалить».

*Суббота из жизни Павлика Б.*

Бабушка Нила умерла в понедельник утром. В четверг её похоронили. Сегодня была суббота, и Павлик ехал на её осиротевшую квартиру на Третьей Парковой, чтобы начать разбирать вещи. Времени было в обрез: мать торопилась жильё сдать — уже на следующей неделе квартира должна была обрести новых, временных хозяев.

Утро было хмурым, пасмурным, промозглым и совершенно октябрьским. Павлика это абсолютно устраивало, несмотря на то, что на дворе был апрель. В меру заполненный 97 троллейбус полз от метро Измайловская. Где-то слева мужик в прокуренной кожаной куртке разговаривал по мобильному: «Вася, бл...! Ну я же, бл..., тебе говорю! Ну давай уже, на х..., решим...» Что именно незнакомец собирался решить с Васей, Павлик не дослушал: отвлёкся на мелодию, которая донеслась откуда-то справа, чуть спереди. Павлик отвернулся от прокуренной кожанки, увидел стоящую к нему спиной девушку: затянутый резинкой пучок рыжих волос, серое приталенное пальто, ярко-зелёный шарф в белую полоску, из ушей торчат провода маленьких наушников. Из них, приглушённо, словно сквозь туман и с другого берега, слышно протяжное: «Ивушка, ивушка, зелёная моя. Что же ты, ивушка, не зелена стоишь...» Павлик подумал, что это сон, — такая молодая, современная, и вдруг в наушниках — «Ивушка». Разве такое бывает?

«Ивушку...» Павлику часто пела в детстве бабушка Нила. Вернее, не совсем ему, а будто кому-то другому — в пустоту. Она при этом всегда сосредоточенно глядела перед собой сквозь очки с толстыми стёклами в коричневой оправе — словно тут же, в маленькой комнате своей двушки на Третьей Парковой, сдавала экзамен невидимой приёмной комиссии: «Что же ты, и-и-ивушка, не зелена стоишь? Или те и-ивушку солнышком печёт...» Павлика в такие минуты завораживали не столько слова песни или даже бабушкин голос — который, кстати, был очень приятный, мягкий и тёплый, как нагретый на майском солнце бархат, — сколько само зрелище: бабушка, «Ивушка» и маленький зал невидимых внимательных зрителей. Всякий раз он сперва впадал

---

*Евгений Сулеc*

# В сие ли лето, Господи, поеду в Лиссабон?

*Рассказ*

Дано мне жало в плоть, ангел сатаны, удручать меня, чтоб я не превозносился...

*Второе послание к Коринфянам  
святого апостола Павла (глава 12, стих 7)*

После бессонной ночи отец Мелхиседек едет на службу. Дорога пуста. В тёмных очках и с бородой он похож на сепаратиста. Живот опять сильно болит. В такие дни уснуть за рулём и не проснуться кажется неплохим вариантом. Жаль только родителей. Сначала они рождают тебя на свет, не спросив твоего согласия, а потом цепко держат на земле своими слабыми сморщенными руками.

Странные мысли для священника и монаха. И тем не менее это его мысли. Наверное, всё дело в этой чёртовой, тупой, грёбаной боли.

Можно ли служить, когда потерял веру? Потерял или забрали? Он всегда любил слова из книги Иова: «Господь дал, Господь и взял». В общем, веры больше нет. Как подходить к алтарю? Не правильнее ли взять бессрочный отпуск и уехать далеко, на край Европы, ходить по пляжу, взглядываясь в бескрайнюю гладь, на другой стороне которой Америка, бродить по старым городам, не тронутым Второй мировой, пить терпкое креплённое вино из долины реки Дуэро и думать, как же всё далеко зашло. Молчать, как молчит Бог. И, если долго молчать, если долго сидеть в темноте и молчать, можно будет понять, почему молчит Он, почему играет с нами в молчанку.

Когда это случилось и почему? Почему писатель перестаёт писать, учитель ненавидит учеников, а священник больше не верит? И что со всем этим делать?

Билеты были куплены, гостиницы забронированы, маршрут намечен, отпуск согласован. И тут — *чума на оба ваши дома*. Границы на замке, воздушное пространство отдыхает, остаётся только каждый день смотреть погоду в Лиссабоне — сегодня плюс двадцать восемь, солнечно, — чувствуя на губах горькую сладость вина, которого так и не выпил, и ехать на службу в закрытый для прихожан храм. Верующим вход воспрещён! Только ему одному. Он будет служить Богу один. Как бы в насмешку

---

Сулеc Евгений Валерьевич — актёр, телеведущий, писатель. Родился в Москве в 1977 году. Печатался в журналах «Октябрь», «Знамя», HomoLegens и др. Один из основателей клуба ЛЖИ — Любителей Живых Историй. Автор книг «Сто грамм мечты» (2012), «Мир виски и виски мира» (2017), «Письма к Софи Марсо» (2020). Живёт в Москве.

В «Дружбе народов» публикуется впервые.

над утраченной верой. Может быть, в этой тишине пустой церкви он снова услышит Бога, как услышал когда-то?

Было лето, все друзья разъехались, он бродил по опустевшему московскому двору, словно Моисей, пасущий овец в пустыне у горы Хорив, только без стада, и нашёл в пыли нательный крестик, простой, из дешёвого металла, с сильно облупившейся синей краской. И обрёл веру. Стало ясно — как будто протёрли губкой тусклое стекло — Бог есть. Его существование стало неоспоримым, мальчик почувствовал присутствие Бога. Во всём вокруг и в себе. Это сложно объяснить. Кто испытал — знает, а кто нет — не поймёт. Вера всегда иррациональна, она не строится на доводах рассудка, построения разума ей чужды. Не то чтобы она совсем противна разуму, просто говорит на другом языке. Вдруг становится очевидным недоказуемое, появляется уверенность в невидимом. Вот и всё.

В тот день, в летнем полупустом московском дворе конца восьмидесятых прошлого века, в другом тысячелетии и другой стране, он услышал Бога. Бог *позвал* его. Хотя Бог и молчал. Он не говорил ему: «Саша, Саша, зачем ты гонишь Меня?», «Я *е*смь Сущий!» или «Иди за Мною!» Ничего такого. Бог молчал. Но Саша Его услышал. Саша услышал Бога.

Это было давно. И теперь он не знает, было или не было.

Бог всегда молчит. Во всяком случае, с простыми смертными. Почему? Самый простой ответ — потому что Его нет. Другой ответ, парадоксальный, состоит в том, что Он молчит, потому что у Него нет ни языка, ни рта, нет ничего, чтобы говорить. Он не только молчит, Он не ходит, не ест, не пьёт. И, если следовать этой логике, не слышит.

*Итак, что мы имеем? Священник, монах... Кстати, сколько ему лет?.. Сорок три?*  
*Понятно, — как тебе. Итак, иеромонах средних лет едет рано утром на службу. Священник в личном экзистенциальном кризисе. Он большие не верит. Сегодня он будет служить один. То есть в принципе может и не ехать. Или ехать, но не служить. Но он всё-таки едет. И собирается служить. В человеке всё привычка, ага. Это речь о личном кризисе?.. В конце он обязательно обретёт веру. На фоне рассвета, после долгой бессонной ночи, полной сомнений. Он узрит свет в самый тёмный час ночи. Я угадал? История смерти и воскресения. Уже рассвело?.. Ты сам ещё не знаешь?.. Можно, кстати, убить его в конце. Застрелить из охотничьего ружья в пустом, побелённом храме без росписи. Гулкий выстрел стихает. И кровь священника проливается на алтарь. Хорошо-хорошо, я умолкаю. Пора двигаться дальше. А что, кстати, дальше? Пусть он кого-нибудь подберёт на дороге. Лучше девушку. И займётся с ней любовью на заднем сиденье. Раз уж веру потерял, пусть возьмёт от жизни всё. Он так долго отказывал себе в простых радостях земли! И ещё ему надо выпить, в бардачке у него должна быть фляжка с виски, все священники, потерявшие веру, пьют, мы столько раз это видели в кино. Не злись, я шучу! Он не будет с ней спать. Он её полюбит, но ему нельзя, после долгих мучений он поступит правильно. Они расстаются, но изменённые друг другом. Они уже не те, что вначале, он снова верит, а она бросает панель. Или так, в качестве бреда, он уходит в расстриги, она рожает детей, и они помогают людям где-то в Сибири. Такой немного Толстой. Нет?.. Но кого-то он должен подобрать, он уже слишком долго один. Например, испавшегося писателя, продавшегося учёного, потерявшего берега пьяного народного артиста. Его машина набивается персонажами, как грибок под дождём, они сворачивают не туда, пьяный актёр сбивает с толку твоего Мелхиседека, и попадают в аномальную зону, где исполняются заветные желания. Там упал метеорит, который окажется летающей тарелкой, и от него исходит сияние. Поиграем в «Сталкера»! Не нравится?.. И что ты предлагаешь, он так и будет*

*один до конца, как клоун Бёлля? Он и его воспоминания? Признаюсь, я немного разочарован! Подумай!*

Чтобы не уснуть, отец Мелхиседек включает музыку. Хотя больше всего на свете ему как раз хочется спать, как ученикам в Гефсиманском саду. Сон от печали, как он их понимает, растерянных провинциальных рыбаков на окраине большого города, запутавшихся в туманных словах Учителя, в притчах и метафорах, образах и символах: «Покажи нам Отца, и довольно для нас!»

Он вспоминает, какой мутной тоской была для него начальная школа. В детский сад он не ходил — мать не работала и всегда была дома, — и первые три класса были сущей мукой. Чувство тотальной несвободы, тюрьмы не покидало его, он чувствовал себя запертым в клетке, вызов к доске был приглашением на казнь, путём на эшафот на глазах у злорадной толпы опытных сидельцев, прошедших детский сад, а учителя — бесстрастными надзирателями, если когда-то и знали, что такое жалость, то давно забывшими за выслугой лет.

Заиграла Sunny Afternoon. Он вспомнил допотопное чёрно-белое видео, в котором «Кинкс» стояли под еловыми лапами в зимнем лесу в своих модных узких костюмах, надетых на белые водолазки. Однажды он был на похоронах в деревне: отец купил дом в Костромской глухи, под Галичем, и они приезжали туда каждое лето. Местные жители выкладывали путь от дома до могилы еловыми ветками. Он так и не понял, зачем. Чтобы мёртвый нашёл дорогу назад, смог вернуться домой? Они и правда хотели, чтобы он вернулся? Они были готовы увидеть его? Вылезшего из могилы, испачканного землёй, белого и холодного, начавшего разлагаться, смердеть?

*Он что, бывший хиппи? Как Уминский? «Кинкс» слушает. Из олдовых хиппов в модные попы?..*

Когда утонул брат, ему долго снились сны, как он возвращается. Бледный, промокший до костей, с водорослями вместо волос, на щеке пиявка, в руке рыба, беззвучно говорящая букву «о». Рыба — самый древний христианский символ. Древнее креста. Нарисуешь рыбку, и все знают, что ты свой, помогут, накормят (впрочем, если не нарисуешь, всё равно накормят и помогут), напишут письмо братьям в Коринф или куда там тебе надо.

Эпоха первых христиан всегда его будоражила. Книга *Деяний святых апостолов* была любимой после Евангелия. Христианство было живым и нежным, как кожа на пятке младенца. А потом оно грубело, веками закалялось, как сталь, твердело. Радость и любовь первых дней ушли. Первые дни были как первая любовь. Господь был *близко, при дверях*, любой день мог стать последним. И это было радостью. Страшной радостью. Господь был на каждой Вечере. Сидел с ними за столом, вкушал и давал Себя в пищу. «Христос посреди нас» — были не пустыми словами. Куда это всё ушло?

Пока ты юн, жизнь течёт по тебе, словно ток, а потом с каждым годом напряжение падает. Но ведь были же люди, которые с годами только светлели, смягчались. Таким был отец Иоанн, в его любви можно было купаться. Почему я не такой? Где я допустил ошибку? Где произошёл сбой? Когда в программу попал вирус? Или он был там изначально? Тогда что его запустило?

Двадцать лет после пострига пролетели как один день, прочитано столько книг и молитв, отслужено литургий и всенощных бдений, молебнов и панихид, сказано столько хороших и правильных слов на проповедях и в частных беседах, на исповедях и встречах, а плода нет. Он бесплоден. Как священник, как христианин, как мужчина. Его потомство, его семя, его дела не наследуют землю, не станут бесчисленными, как звёзды на небе и песок на морском берегу среди сосен и кедра ливанского. «Рахиль

плачут о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет». Конечно, дело не в книгах и словах, не в количестве лет. Это как наизусть знать инструкцию по применению, но ни разу не пользоваться прибором, не применить её на практике.

Скучная история выходит у тебя, бро! Кому это сейчас нужно, кто это будет читать? Первые христиане, есть Бог, нет Бога... Кому это интересно? Это давно уже неважно и неактуально. Проехали! Теперь всё относительно: если веришь, значит, есть, не веришь — нет. Всё в твоей башке! Игры разума, иллюзии сознания, цветные и глупые сны. Ничего нет. Только ты да я. Да и меня, в сущности, нет. Только ты! Всё лишь порождения твоего ума, лучи сознания, колебания пустоты. Ты меня не слушаешь!..

Был бы я лучше, было бы во мне больше жизни, если бы она согласилась и вышла за меня? Родила бы детей... Зачем снова об этом спрашивать! Она не согласилась. А без любви, просто взять кого-то, потому что надо, я не мог.

На обочине, рядом с машиной цвета спелых вишнёв, танцуют две девушки в топиках. Они смотрятся экзотично, и это первые люди, которых он встречает этим утром. В них есть жизнь. В их отточенных энергичных движениях, улыбках, открытых лицах, к которым прилила кровь. Ему хочется остановиться, выйти из машины и танцевать вместе с ними. Нелепо, как получится, как сможет. Научите меня танцевать!  
*Освежите меня яблоками!*

В семинарии у него было послушание: он приходил первым и открывал храм, зажигал лампады, готовил всё к службе. Однажды он шёл рано утром к храму и увидел девушку в одной белой рубашке, накинутой на голое тело. Она тщетно совалась во все двери, а увидев его, обрадовалась и подбежала: «Меня тут привезли и забыли, я проснулась, а никого нет! Мне бы попить, очень пить хочется, и позвонить!» Он её потом долго вспоминал со смехом и скрытым волнением.

*А он у тебя* тайный эротоман, однако! Блин, ты опять не слушаешь! Ну и чёрт с тобой!..

Сейчас ему кажется, что забыли его, на этой дороге оставили одного, как в детстве. Во рту пересохло и нужно срочно позвонить. Один-единственный звонок. Каждый человек имеет право хотя бы раз в жизни на звонок Богу. Один только раз. Прощу! Господи, возьми трубку, ответь! Скажи «алло» или просто подыши на том конце, и хватит с меня.

Когда приходит пустота? Эта прожорливая пустота, съедающая всё на своём пути. Природа не терпит пустоты. Пустоту заполняет боль. Такое ощущение, будто закатали в полиэтилен и нечем дышать.

«Или, Или! Лама савахфани?» *Боже мой, Боже мой! Для чего Ты меня оставил?..* Или это я оставил Тебя? Ты дал, а я всё растерял по дороге, расплескал, зарыл в землю.

Он едет и думает обо всём этом по нескончаемому кругу, думает о своих старых родителях, о молчащем Боге, о том, что скоро, возможно, всех монахов припишут к монастырям, а в монастырь он не хочет, он слишком хорошо знает, что такое монастырь, и родителей не оставит, уйдёт в заштат, будет искать работу, кем и куда он сможет устроиться, что будет делать? Думает о боли в животе, боится, что это рак. Хочет нарушить эту тишину, закричать, прорвать плёнку, бороться с Богом, не отпускать Его до зари, и в её отблеске хотя бы на долю секунды увидеть Его Лицо. Иногда ему кажется, что именно этого Он и ждёт от него.

Играет Losing My Religion, R.E.M.: Rapid Eye Movement — «быстрые движения глаз» во время фазы быстрого сна. В голове кадры из клипа, вдохновлённого «Жертвоприношением» Тарковского.

Он движется дальше, дорога петляет и по-прежнему пуста, танцующие девушки остались давно позади. Может быть, он уже умер и едет на тот свет на машине Харона? По бокам жёлтое море колосьев, колосья полны зёрен, зёрна упадут в землю и снова взойдут, принесут урожай, над полем кружат птицы; если опустить стекло и выключить музыку, услышишь крик чаек, хотя никакого моря здесь нет и в помине, ни моря, ни большой реки, ни озера. Он Харон и умерший. Перевозчик и перевозимый в одном лице. Дорога не закончится, пока он не найдёт ответ. Он жаждет ответа, он умирает от жажды, как потерпевший кораблекрушение умирает от отсутствия воды посреди океана, держась распёртыми руками за доску. На доске написано несколько букв из имени корабля. Под толщей воды много рыбы.

Он алчет ответа, и вдруг что-то щёлкает в голове, как будто сработал специальный тумблер, появляется какой-то мгновенный просвет между мыслями, щёлка, из которой бьёт свет утренней зари, ослепляет, на миг нет ничего, кроме этого света, и становится ясно. Ответ не в словах. Нет таких слов, такой их комбинации, которая может вместить ответ. Именно поэтому Бог молчит. Ему нечего сказать нам словами. Он говорит этим полем, этой дорогой, криком чаек, танцующими девушками в цвету на обочине, пыльным нательным крестиком, отцом и матерью, любимой девушкой, что отказалась, всеми людьми на твоём пути, этой болью внутри и пустотой, унылой, как осеннее поле в среднерусской полосе, а иногда наполненностью, которая льётся через край ванны, когда ты в ней уснул или умер, какая разница, Он говорит всем, что с тобою было, есть и будет, Он кричит всем этим: «АЛЛО!!!», именно так, капслоком и с тремя восклицательными знаками, Он громко дышит в трубку полной грудью, правым и левым лёгким, миллионами альвеол, будто долго бежал, бежал за тобой, Он всегда на связи, даже когда ты вешаешь трубку, нажимаешь отбой и звонишь другому абоненту. Он никогда не молчит.

Отец Мелхиседек входит в пустую церковь, большую, только побелённую, без росписи, на роспись денег нет, и служит Богу — его голос гулко разносится под её свежими сводами, — в Которого то верит, то нет. Когда вера крепка, он может свернуть горы. Когда её нет, — он будто лежит на дне тёмной реки. В такие дни он напоминает себе колеблемое ветром дерево за секунду до падения, большое, бессмысленное. Ветер крепчает — и оно с глухим стоном падает. Корни его неглубоки, ветви пусты. Когда он верит, — его самого будто нет, он исчезает, растворяется, легчает до возможности взлететь, пойти по воде. Так ему кажется, когда он верит. Когда нет, — он снова занимает собой весь эфир. Страхи, сомнения, тоска и боль затмевают всё, заглушают все другие голоса, ничего не видно, ничего не слышно в такие дни, нет ничего, нет Бога, нет других людей, только черви внутри, медленно съедающие твою душу.

И это всё? Конец? Ну нет!.. Ты вылил на нас мутный поток чужого сознания! И прицепил к нему сомнительный вывод из сомнительных рассуждений. А где события? Где действие? Напиши хотя бы: «В Лиссабоне снова солнечно, плюс двадцать восемь!» Закольцуй конец с началом! Почему ты молчишь?

*Анна Долгарева*

## Там, где болит — приложи подорожник

### *Баунти*

Рождаться я не должна была.  
Матери пять лет, и ещё потом  
ставили бесплодие, чёрное, горькое, как смола.  
В ноябре каком-то, полуснежном, полуседом,  
она доехала до пасмурного села.  
Бабка что-то шептала над её животом,  
слушала, как её сердце бьётся.  
Давала воду из местного ручья  
(не исключено, что попросту из колодца),  
через девять месяцев родилась я.

«Баунти» — райское наслаждение.  
Так говорили по телевизору, показывая картинки рая.  
Я смотрела — пятилетняя — замирая.  
Это происходило как раз на разделе  
большой империи, а я была небольшая.  
Отцу тогда перестали платить зарплату,  
он злой ходил, а тогда и вовсе,  
засунул меня в куртку, потащил в тёмную осень,  
до ларька, к пергидроловой продавщице патлатой,  
на последние деньги купил этот баунти сраный,  
я ела, захлёбываясь слезами,  
он был совершенно невкусный, как деревянный,  
но папе я об этом ничего не сказала.

В семь лет, отправившись в школу,  
я узнала, что умерли те, о ком я читала.  
В землю легли рыжие кони,  
гипсовые пионеры сошли с пьедестала.  
Кто писал о победе — тот стал обманщиком.

---

Долгарева Анна Петровна — поэт, журналист. Родилась в 1988 году в г. Харькове (Украина). Автор семи поэтических сборников, среди них «Из осаждённого десятилетия» (2015), «Уезжают навсегда» (2016), «Русский космос» (2019). Лауреат Григорьевской премии (2019). Живёт в Москве и Санкт-Петербурге. В «Дружбе народов» печатается впервые.

Разбилась голубая чашка,  
накрылась судьба барабанщика.  
Зарыты в землю герои Гайдара,  
никто не шлёт привет Мальчишу.  
Они проиграли, а я дышу.

Наверное, тогда я и стала старой.

Там, где я выросла, мне светит пятнадцать  
Лет за экстремизм и призывы к сепаратизму.  
Но эти неосвещённые дорожки мне часто сняться  
и тропинка к ларьку через футбольное поле моей жизни.

И жёлтое окно на втором этаже — мамино и папино,  
словно книга, что открывается на одной и той же страничке.  
Когда я умру, надо мной запоёт Алёна Апина,  
и я уеду прочь на ночной электричке.

\* \* \*

Генерал Василий Филиппович Маргелов,  
Командующий ВДВ,  
Уверен в успехе проекта,  
«Боевая машина десанта».  
Это многотонный железный гроб на колёсиках,  
С живыми людьми внутри,  
Который предполагается выбрасывать с самолёта,  
С высоты нескольких сотен метров.  
Никто не верит.

Генерал Василий Филиппович Маргелов,  
Командующий ВДВ,  
Выбирает для испытаний младшего сына Сашу.  
И, пока самолёт с Александром Маргеловым набирает высоту,  
Василий Филиппович курит  
Беломорину за беломориной,  
Не смотрит в небо.

Позже журналисты напишут,  
Что он приберёг для себя пистолет с одним патроном.  
Это неправда.

Чем выше, тем холоднее.  
Боевая машина десанта  
Со старлеем Маргеловым Александром  
Промерзает до кишок.  
Скоро заброска.

Когда холодно, не растают твои крылья.  
Скреплённые воском.

Это солнце, мороз, Россия, это никто не упал,  
Это выше человеческого закона.  
Беломорину за беломориной курит Дедал  
Посреди Тульского полигона.

\* \* \*

Собрала яблоки, а они сгнили.  
Или неправильно хранила, или  
Некому было есть.  
Дом мой пуст. Дом мой вообще не здесь.

В детстве собирали подсолнухи и орехи,  
Складывали на балконе. В эфире помехи,  
Не дозвониться.  
Семечки из подсолнуха сыпала птицам.

Мама, возьми трубку. Не слышит — на даче.  
То, что живы — вообще большая удача.  
Не жалуйся, могло быть и хуже.  
Некому меня домой позвать со двора на ужин.

Яблоки мои, яблоки, катитесь по блюдцу.  
Катятся и смеются:  
«Зеркало в пустой квартире покроется пылью,  
Унесли тебя гуси-лебеди на белых крыльях».

\* \* \*

Пообещали, что к вечеру будет дождь.  
Воздух горячий, трясущийся, как желе.  
Тополь стоит за окном, лопотлив и тош,  
пух от него разлетается по земле.

Если поймать пушинку, придёт письмо.  
Там, где болит — приложи подорожник, пройдёт само.  
Если оса, то скажи ей: «соль, соль, вода».  
Плавятся за спиной мои города.

Беленькая пушинка, лети, лети,  
через границы стран и жэдэ пути,  
через минные и маковые поля,  
туда, где меня забыла моя земля.

К вечеру будет дождь. На верёвках висели  
простыни, но убрали. По небу течёт лиловое.  
Трещины на асфальте: ночью было землетрясение.  
Я выходила с kleem, заклеивала.

Александр Джумаев

## Из эпохи «последнего времени»

*Разрозненные мысли и наблюдения*

Начну с короткого пояснения. «Последнее время» — *охир замон* — устойчивое понятие, категория в духовной жизни, в суфийском мироощущении, в старом обыденном сознании мусульманских народов Центральной, или Средней Азии и Казахстана. «Последнее время» может случиться в каждом столетии, даже не раз. Когда оно наступает, рушатся фундаментальные опоры человеческого сообщества, принципы гармонии и в самой жизни, и во внутреннем мире человека. Наступает эпоха хаоса, тотального жульничества, вседозволенности и лицемерия. Но все это нередко выставляется как расцвет духовности, процветание и благополучие. Основатель суфийского братства Яссавийя, общетюркский суфийский проповедник Ходжа Ахмад Яссави (ум. в 1165 г.н.э.), обращаясь в своих хикматах-премудростях к признакам охир замона, заметил: «Охир замон шайхлар иши хаме риё» — «Дела шейхов последнего времени — одно лицемерие».

Эти записи появлялись спонтанно. Не было намерения составить из них нечто целое и связное. Заносились они в записные книжки, на отдельные разрозненные листки, иногда — когда ничего не было под рукой — на внутренние пустые стороны книжных обложек. Время — конец так называемой перестройки, распад СССР и первые годы национальной независимости. А точнее — безвременье, полное неопределенности и безысходности. Разумеется, не для всех. Но прежде всего — для советского человека, коим считаю и себя. Место — преимущественно Ташкент, но и другие города Узбекистана и соседних республик.

Разнохарактерность записей и эклектичность отраженных в них тем и сюжетов очевидны. Казалось, что в этом виде их вряд ли когда-нибудь можно будет опубликовать, понадобятся отбор и тщательная редактура. Но, просматривая эти записи по прошествии многих лет, я вдруг увидел в них определенную цельность. В том смысле, что они по-своему довольно точно отражают время. Ведь и само время тогда было разорвано на части, протекало по отдельности в разных сегментах и слоях общества. И даже в разных сегментах сознания одного и того же советского человека. Присутствие разновременности внутри одной эпохи создавало впечатление эклектичности мыслей, но оно было мнимым.

---

Джумаев Александр Бабаниязович — культуролог и музыковед-востоковед, постоянный автор «ДН». Родился и живёт в Ташкенте. Основные научные интересы А.Джумаева связаны с Центральной Азией и сосредоточены в двух областях: музыковедческой и культурологической. Автор более двухсот научных публикаций и книг.

Предыдущая публикация в «ДН» — 2019, № 3.

Как и прежде, продолжалось чтение книг, выписывались полюбившиеся тексты, и составлялись примечания, шла научная работа, хотя теперь вне государственного научного учреждения. Сохранялось общение с друзьями и коллегами, круг которых незаметно сужался. Начался безостановочный отъезд из страны в разные стороны, который не завершен и поныне. Происходили бесконечные споры и обсуждения происшедшего и происходящего. Даже поездки по городу на автобусе или метро давали интересную пищу для размышлений.

Потом начались поездки через границы по служебным делам в соседние, бывшие братские республики и там — новые наблюдения, а к ним уже сравнения. И все это в разной степени фиксировалось. Большая страна рушилась постепенно, выработанные в ней культурные ценности вытаптывались и заменялись новыми. И все, что фиксировалось, отражало калейдоскоп изменений, происходивших со страной и с тобой, с твоим сознанием.

Строгой хронологии при составлении этих записей я не придерживался, стараясь сгруппировать их по неким «тематическим блокам». Хотя в отдельных случаях, где это имело принципиальное значение, привел зафиксированные ранее даты, а также ввел годы жизни для тех, кто уже покинул этот мир. Хотелось бы предупредить читателя: жизнь всегда многообразней, чем любое наше наблюдение, тем более мимолетное. И вряд ли каждое наблюдение может быть основанием для обобщающих выводов и утверждений.

\* \* \*

А начиналось все с бесед и споров с отцом. Споры были серьезными, и иногда мы расходились по своим комнатам с обидой друг на друга. Если рассказывать обо всем, получится целая книга. Здесь же показалось важным просто определить позицию, которая выпадает из нашего времени. Полный анахронизм.

Наверное, сыновьям, во всяком случае очень многим, свойственно идеализировать своих отцов. У нас же, на Востоке, — не только идеализировать, но и безмерно почитать. Часто приходится слышать, например, от таксиста, случайного попутчика в поезде или самолете о том, как был мудр его отец, какой он удивительный, честный и порядочный человек — теперь таких нет. Какие он высказывал правдивые и умные суждения, давал бесценные советы, предупреждал, умел различать хорошее и плохое... Тогда говорю им: вот и напишите о своем отце. Но вместо этого у нас принято называть именем отца маленькие частные магазинчики-дуканы, а иногда даже кафе и рестораны. Но дуканов, конечно, больше: «Махмуд-ота», «Кучкар-ота», «Исмоил-ота», «Иброхим-ота»... Ота — значит отец. Конечно, хорошая, можно сказать, прекрасная традиция. Где еще есть такая?

Меня рассказать об отце побудила не биография его. В ней нет ничего необычного. Таких людей были сотни тысяч, миллионы. Это те, кого подняла Советская власть с самых низов, для кого эта власть стала своей, кто осознавал свою классовую принадлежность. Кто мог спросить и спрашивал чиновника и начальника прямо в лицо, не задумываясь и не взвешивая последствий: а что полезного лично ты сделал для государства и страны? И чиновник вынужден был отвечать или молчать. Рабочему-то терять нечего, кроме «своих цепей». С завода не погонят.

Сравниваю с нынешним временем и понимаю, как далеко мы ушли от той демократии и свободы. И как крепко мы опутаны тоталитарной системой экономической зависимости и произвола. Теперь любой работник боится не то что покритиковать, но даже ответить на унижение, несправедливость, защитить себя. В особенности в сфере культуры. Попробуй-ка — быстро вылетишь с работы и вряд ли потом найдешь другую, даже с меньшей зарплатой. И молчат не только рядовые работники, но и среднее звено. Чиновники-начальники теперь хозяева положения.

Будешь работать столько, сколько им нужно. Какие там 8 часов! А 12–16 не хотите? И в воскресные дни тоже. И никто их не приструнит, покуда сверху не уберут, но по другой причине: «выпал из команды», перестал заносить долю или, как они выражаются на своем криминально-поганом жаргоне, «забыковал».

Причина рассказов об отце — в осознании собственного классового происхождения. Случилось это значительно позже, уже после ухода отца из жизни и после того как в анкетах исчезла графа «социальное происхождение», а потом исчезла и сама анкета. Некоторые коллеги и знакомые ринулись восстанавливать свое классовое происхождение, восходящее, конечно же, не к пролетариев, а все больше — к аристократическим родам, ишанам, баям, святым-шайхам, ходжам, древним тюркским и иранским династиям, жузам и проч. Тогда впервые и стал задумываться: а кто же ты сам? Как примкнул к той феодально-байской традиции, которая оказалась чуждой жизненному принципу твоего отца, пролетарскому интернационализму? К традиции, которая в силу своей древности и укорененности в сознании так великолепно разделяет общество, отделяет его слои и классы друг от друга.

Класс-гегемон пролетариев послевоенного призыва давно ушел, остатки его развеялись вместе с заводами и фабриками. А вот интеллигенция все же сохранилась и теперь находится в поиске своих древних культурных корней. Твердят о восстании черни в 1917-м году, об уничтожении чуть ли не всех деятелей культуры тоталитарной системой, о жестоких репрессиях. А она тут как тут, существует, хоть была всего лишь тонкой «прослойкой» между классами. И немало уже тех, из бывшей народной, оказалось у кормушки, черпает из нее теперь уже без страха и боязни. Попутно восстанавливают свои «шаджара» — традиционные родословные (зафиксированные в виде документа, часто свитка в арабской графике), заверенные цепочкой «передатчиков», именами священнослужителей и влиятельных лиц, подписями и печатями юридических авторитетов. И готовы, если что, предъявить эти шаджара в лицо другим — противникам-завистникам, соперникам и конкурентам: вот, смотрите, кто я такой, какие у меня благородные корни. («А ты кто такой?» — «Сан ким сан?») Идет чуть ли не повальная «шаджараизация» «интеллектуальной элиты», правящей верхушки и новой буржуазии. И у нас, и в некоторых соседних странах.

Но ведь в свое время эти люди получили все, что было возможно, от советской власти: образование (многие в престижных московских и ленинградских вузах), работу, карьеру, квартиры, машины... А теперь без зазрения совести, а то и с гордостью, пишут и вспоминают, как они, их отцы и деды прикидывались коммунистами, но никогда не верили в социализм. Как скрывали ценности (золото, драгоценные камни и пр.) от конфискации, как проклятые большевики отнимали у них нажитое непосильным трудом — особняки, заводы, дуканы, землю и проч., как они поддерживали друг друга, подбирались к хорошим, хлебным должностям при Советах. И это подается в ореоле доблести, как скрытая, тайная борьба с проклятым тоталитарным режимом. Спешно, ударными методами строится — и уже, надо признать, почти построено — классовое общество на новой антагонистической базе. Закладываются основы для новых социальных потрясений в будущем. Хочется им сказать: раз вы так ненавидели тот строй, так верните все, что вы получили (фактически незаконно) от советского государства! Но некому и возвращать: той страны уже нет.

\* \* \*

Вспоминаю свое детство и молодые годы. Долгие застолья и беседы с отцом и его друзьями — рабочими разных национальностей, русскими, узбеками, татарами, немцами, евреями, украинцами — и не нахожу этому общению лучшей альтернативы.

## Моя малая Родина

Айганыш Акылбекова

# Осенняя хандра в Кыргызстане: недореволюция, киргизация и балконские

Я стою на площади Ала-Тоо. Утро. Шесть часов.

По улице вверх — кинотеатр, музей, флагшток с красно-желтой тканью и памятник Манасу. Величавый, он восседает на коне. Глядит на подвиги своих потомков, которые хочется взять в кавычки.

Маленькая, я часто приходила сюда по праздникам. Нарядное платье, банты, гольфы; танцующие девочки в национальных костюмах с заплетенными косами, сахарная вата, яблоки в карамели, леденцы на палочках, прочая сладость жизни.

В последние годы на этой площади мало празднуют. Всё больше бросаются камнями и громкими политическими лозунгами.

Сейчас здесь тихо и безлюдно, хотя всего несколько часов назад толпа митингующих прорвалась в Белый дом. Той осенью Бишкек повидал многое. Приехав на тихое семейное торжество, я хотела увидеть младшую сестру в подвенечном платье, а стала свидетелем того, как пала власть.

Из родного Бишкека я уехала пять лет назад. Не навсегда, нет. Я навещала его наездами-набегами по праздникам или выходным, наблюдала со стороны за незначительными изменениями: за домом построили новую дорогу, где-то, как обычно не к месту, выросли пестрые элитки, установили камеры видеонаблюдения — теперь водители, наконец, заметили стоп-линию перед светофором (все-таки штраф в 1000 сомов больно бьет по карману).

Последний приезд пришелся на март 2020 года. А после был локдаун. Ковид, карантин и новая Zoom-реальность — то, с чем пришлось столкнуться многим в ушедшем году. И, когда в августе младшая сестра написала, что будет той, я, ни минуты не сомневаясь, собрала вещи и приехала на родину.

Той для кыргызов — дело святое. Свадьбу у нас проводят дважды: первая — «Кыз узатту» (прощание с невестой), вторая — непосредственно само торжество. Узатту проводит сторона невесты, это обряд, при котором родители и родные невесты провожают ее в дом жениха. Официальную свадьбу проводит уже сторона жениха, на нее приглашают его родных и близких, невестиной родне «выделяют» места — обычно для тридцати, в лучшем случае пятидесяти человек. В среднем на свадьбе присутствует

---

Айганыш Акылбекова родилась в г. Бишкек (Кыргызстан). Финансист, живет в Алма-Ате. Посещает литературную мастерскую Алины Гатиной.

от ста пятидесяти человек и выше — в зависимости от материального положения семьи.

Наше узатуу по общим меркам было довольно скромное, со стороны жениха были приглашены всего десять человек, но стол мы накрыли, как для пятидесяти. В культуре и традициях кыргызского народа гости всегда в почете, а особенно кудалар (сваты) — им отводятся лучшие места за столом, готовят особые яства (режут барана, кобылу, готовят «чучук» и несколько горячих блюд), развлекают танцами и песнями. Все это завершается проводами девушки, которая должна выйти из дома, не повернув головы (согласно традициям, если девушка обернется, то с позором вернется в родительский дом).

Через неделю праздничные хлопоты сменились трудовыми буднями. Я продолжала работать на удаленке, а страна готовилась к парламентским выборам. По всему городу были развесаны агитационные плакаты с фотографиями очередных претендентов в 120-местный Жогорку Кенеш. С огромных билбордов (и со стен домов) на кыргызстанцев смотрели довольные лица, которые обещали точно то же самое, что и их предшественники прошлых созывов. Стало скучно. Интересовало меня другое: где были эти люди летом, когда страна задыхалась от Covid-19? Когда не хватало мест в больницах и аппаратов ИВЛ, денег на лекарства, когда врачи покупали средства защиты и питание для больных на свои бюджетные зарплаты? Когда у больных была надежда только на врачей и команду волонтеров, которую образовала группа инициативных граждан.

Кстати, на жителей, разом лишившихся заработка, депутаты просто закрыли глаза. Как в том меме: «Может, если я закрою глаза, оно исчезнет?»

Вечером в воскресенье 4 октября в Бишкеке прогремел салют. Окончились выборы в Жогорку Кенеш. В сети блуждало видео: вновь избранные кандидаты приплясывают под брызги шампанского, женщины из административной команды улыбаются во все тридцать два золотых, безымянные люди из группы поддержки потирают руки.

В парламент прошли четыре политические партии, три из которых считались провластными. Ничего нового. «В Багдаде все спокойно», — посчитали победившие и продолжили праздновать.

В обед 5 октября несколько миллионов кыргызстанцев, кто с удивлением, кто с восторгом, наблюдали, как на площади Ала-Тоо начался митинг против предварительных результатов. На небольшое пространство напротив Белого дома стекались сторонники оппозиционных партий; к вечеру толпа превратилась в многотысячную.

В середине дня я забежала в «Азию» — выцветшая желтоватая надпись, знакомые синие двери, — сколько же лет этому магазину? Зайдя внутрь, увидела как две продавщицы, нахмурившись, глазели в один телефон. Оттуда доносились резкие выкрики, и невнятная речь сопровождалась громким улюлюканьем и общим гулом. Одна, поправив очки в тонкой оправе, спросила другую, ткнув в бок:

— Сен барат белен?<sup>1</sup>

— Ай, жинди болуп кеттинбн<sup>2</sup>? Канча акча берсе дагы мен ал жакка экинчи барбайм!<sup>2</sup>

Мы встретились глазами.

---

<sup>1</sup> Ты бы пошла?

<sup>2</sup> Ты что, с ума сошла? Я второй раз туда не сунусь. Сколько бы ни предлагали!

— Здравствуйте, что вам? — спросила она на чистом русском.

Русский — важный язык в нашей стране. Многие семьи разговаривают дома на двух языках, и это считается нормой. Наши мигранты ценятся в России, потому что у нас хорошо его преподают еще с советских времен. Я сама из русскоязычной семьи и, к своему стыду, знаю русский лучше, чем родной кыргызский. Таких, как я, в столице много, нас называют «чала кыргыз» — «так себе кыргыз».

— Здравствуйте, эжеке. Пару батонов и сметану. А что там по видео? — я кивнула в сторону продавщицы с телефоном.

— Кызыл, аябай жаман болуп жатат<sup>1</sup>, — охнула она, схватившись за сердце. — Эл аянтка чыгыптыр, Ак Ўйду көздөй кетип жатышыптыр, шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарууну талап кылып жатышыптыр<sup>2</sup>.

— Да чего вы беспокоитесь, эже? — ответила я, пожав плечами, и протянула ей деньги. — Не в первый раз ведь. У оппозиции нет шансов, все сильные партии, у которых была возможность, прошли в парламент. Не вижу никаких причин для волнения.

— Кызыл, было бы так. Но ты их не видела! Посмотри на них — столько гнева, столько злости! Видит бог, к добру это не приведет. О, кудайым сактасын! Аман эсен жашайлык! Оомин!<sup>3</sup>

— Оомин, — сказала я, подняв раскрытые ладони, и вышла из магазина.

Перебежав запруженную автомобилями дорогу, я чуть не упала, споткнувшись о разбитый асфальт, и первое, что увидела, когда распрямилась, — огромное улыбающееся лицо очередного кандидата в парламент. Плакат занимал торцовую сторону моего дома.

Дом, в котором я живу, и его родной «брать» через дорогу называются Южные ворота. В восьмидесятых это была окраина города. Два близнеца стояли по разные стороны улицы Советской (раньше она называлась Базарной — на этой дороге в 1920-х устраивали ярмарки). На стенах домов были вырезаны-вылеплены величественные фигуры. В детстве я мечтала тайком вылезти с балкона, спуститься на карниз и вплотную подобраться к барельефу, чтобы поглязеть на безликих существ и пощупать их каменные наряды.

Вечером того же дня я вышла прогуляться и взять напрокат велосипед. Мой район за эти годы приобрел благообразный вид — рядом с домом разбили два парка, вдоль которых проложили велосипедную дорожку.

В тот вечер велосипедов не было — работники проката спешно переносили их в будку.

— Здравствуйте, я возьму велик на час? — крикнула я, заглянув внутрь. С улицы они меня не услышали.

— Синдиим, бүгүн биз жабылып жатабыз<sup>4</sup>. Ты слышала, что там происходит? На площади народ бунтует, будет революция!

Махнув рукой на необоснованные страхи, я все-таки выпросила себе велосипед.

Проезжая мимо новых парков, я смотрела на пустые скамейки: ни мам, ни детей, ни танцующей молодежи, которая обычно снимает видео для ТикТок. Тогда я не придала этому значения. А когда прогремели выстрелы, решила, что это салюты. Я не верила до последнего, что люди способны на революцию в третий раз. Как будто первые две ничему нас не научили.

<sup>1</sup> Доченька, совсем плохо.

<sup>2</sup> Народ вышел на площадь и направляется к Белому дому, требуют отмены результатов.

<sup>3</sup> Спаси нас бог, пусть мы будем все в здравии. Аминь!

<sup>4</sup> Сестренка, сегодня мы закрываемся.

Слова «Кыргызстан» и «революция» в скором времени могут стать синонимами, недаром российский депутат Олег Морозов ввел в оборот понятие «киргизация» — то есть *революционное* несогласие с итогами выборов. Вот с чем мы вошли в новейшую мировую историю после тридцати лет независимости.

Почему-то многие считают, что кыргызы — свободолюбивый народ. Как будто главный критерий свободолюбия — склонность устраивать революции и гнать взашей не понравившихся президентов.

Как-то ранней весной я возвращалась в Алма-Ату через Кордай. В душной комнате в очередях к таможенникам толпились люди с чемоданами, баулами и заполненными до краев китайскими сумками в клетку. Раньше, в девяностые, этого пограничного поста не было, люди без остановок проезжали через границу.

Подойдя к автобусу, я увидела худощавого мужчину в очках, который впихивал объемистый чемодан и спортивную сумку в багажник. К нему на помощь подбежал водитель автобуса, и вдвоем они кое-как уместили груз. Устало вздохнув, мужчина достал из заднего кармана джинсов платок и пртер им лицо и очки.

Он оказался моим попутчиком и занял место рядом. Иван, так его звали, был аудитором и, как выяснилось, переезжал в Алма-Ату на ПМЖ.

— Да просто я понял, что ничего не изменится. Вспомните две тысячи десятый, — он вздохнул и посмотрел на пробегавшие мимо кордайские степи. — А пятый? Помните, как грабили магазины одежды, торговые центры, продуктовые лавки? Как с ума посходили. Тогда родители лишились бизнеса за ночь — две торговые точки в ТЦ «Бета Сторес» с одеждой и техникой. Всё разгромили, украли... Дикость.

— Помню, — ответила я и отвернулась.

В тот день стояла жара, не характерная для марта. У нас были весенние каникулы, и я, вернувшись с прогулки, легла спать, а проснулась — от грохота пролетающего вертолета. Помню, как забежала мама со словами: «Доча, Акаева свергли!» — и позже мы узнали, что семья Акаевых бежала в Россию. Тогда я мало что понимала. По телевизору транслировали, как разъяренная толпа громит Белый дом, и везде будто один и тот же кадр — разбитые стекла, бесноватый народ, пожары. Один мужчина нес на себе холодильник, а женщина, нацепив на себя драгоценности, закидывала в пакеты туалетную бумагу. На первом этаже моего дома был магазин сети «Народный». Сейчас там мебельный. Ночью я видела, как пришли мародеры. Один из них разбил камнем стеклянную дверь и забежал внутрь, за ним ринулась куча людей. Все с пакетами, кричат, толкаются. Среди них — наш сосед Влад с пятого этажа. И тут его жена с балкона: «Владик, захвати сметану!»

Все это я рассказала Ивану. Он ничего не ответил. Уставился в одну точку и,казалось, решил закончить нашу беседу.

Несколько минут мы ехали молча, потом он неожиданно усмехнулся и продолжил:

— Кстати, «Гоин» знатно распотрошили в пятом году: разбили все до единого стеклышка, камня на камне не оставили. Так что хозяева сделали ремонт и на будущее забетонировали окна — без окон, без дверей, это как раз про «Гоин». И когда случилась апрельская революция, мародеры ушли ни с чем.

— Видимо, они пошли дальше, — поддержала я. — «Бета», «Вефа», «Плаза» — это уже мелочи. Они же начали грабить дома...

— Ш-ш! Тихо вы! — повернулась к нам сонная женщина в меховой жилетке. — Чего вы так громко болтаете? Люди же спят!

— Да кто спит? — удивилась я и посмотрела вокруг.

Действительно, салон автобуса мирно посапывал. Девушка слева от нас, что закупилась едой, будто ехать собиралась не четыре часа, а неделю, положила руки и голову на спинку переднего сиденья. Пара впереди нас синхронно качала головами в такт езде.

Вдруг автобус подбросило. Мы, сидевшие на заднем ряду, подпрыгнули до потолка; Иван ударился головой, а я расплескала воду из открытой бутылки прямо на платье. Такая вот трасса.

Скоро за окном показались ветряные мельницы. В любое время года и суток я с упоением наблюдала за их величием. Они всегда представлялись мне чем-то магическим и сказочным.

— А мы с другом участвовали в революции десятого года! — заговорщикским шепотом сказал Иван. — Да кто в то время не пошел бы против Бакиевых? — быстро добавил он, заметив, как вытянулось мое лицо. — Максим, Жаныш такой беспредел творили! Как раз тогда они установили платный дозвон, а всю весну люди были на веерном отключении — воду из Токтогульской ГЭС распродали соседям.

— Помню, это было последней каплей для многих.

— И тут подвернулся случай. Прибегает ко мне Эркин, сосед, и вываливает, что там, на площади, шумиха, и если мы хотим отстоять нашу страну и наши права, то надо идти и бороться. Я согласился, режиму Бакиевых должен был прийти конец. Плюс — там была неплохая оплата. Представьте себе, просто вышел на Ала-Тоо — и пятьсот сомов в кармане. Дальше больше: возьмешь плакат — сверху сотня, выступишь с лозунгом — еще. Короче, можно было за раз поднять хорошие деньги. Я тогда сидел без работы, хотел помочь родителям.

— И?

— Решился.

— А последствия первой революции вас, видимо, не впечатлили?

— Да уж, — сказал он. — Почему-то тогда мне казалось, что мы делаем что-то правильное, что-то важное для страны. А деньги были приятным бонусом.

Я промолчала.

— Седьмого мы вышли на площадь и присоединились к толпе у Дома Правительства. Нас становилось все больше, и в какой-то момент началась потасовка с милицией, охранявшей здание. Помню, как на мгновение засомневался: слишком агрессивный был у них настрой. Посмотрел на Эркина — у того аж глаза повылезали из орбит, пот выступил на лбу, так сильно он кричал. Началась борьба, менты лупили всех подряд, не разбирая. Мужчин, женщин, молодых и старых. Рядом стоявший парень в калпаке<sup>1</sup> вдруг завопил: «Жүргүлө, Ак Ўйгө барабыз! Бакиев чыксын! Бакиевтер кетсин!»<sup>2</sup> Мы воодушевились — как тут можно было сдаться? — и оттеснили ментов.

Позже, когда подошли вплотную к забору, я увидел, как кто-то пригнал грузовую машину, — ее захватили у милиции на Форуме. Машина разогналась и с грохотом выбила ворота Дома Правительства. Толпа ринулась, и по ней открыли шквальный огонь. Первые ворвавшиеся были убиты наповал. Водитель машины хотел задним ходом открыть вторые ворота, но подключились снайперы. После машину подожгли. Мне тоже досталось, шрам до сих пор есть, — сказал он и потер затылок. — Я тогда лежал на земле и смотрел в небо, как Болконский. И думал.

<sup>1</sup> Калпак — кыргызская войлочная шапка.

<sup>2</sup> Пойдемте в Белый дом! Пусть выйдет Бакиев! Выгоним их вон!

— О чём?

Меня несколько смутил его пафос.

Иван смотрел невидящим взглядом.

— Не помню. Кажется, я думал об Эркине. А революция по сути — уродлива и жестока. Никакой романтики. Почему я считал иначе? Вокруг валялись раненые, может даже, трупы. Кому из них пригодились те выданные деньги?

В больнице я узнал, что в Эркина стреляли. До сих пор задумываюсь: если бы я тогда на площади видел его раненым, спас бы его? — Он повернулся к окну и тихо добавил: — Вряд ли.

Казалось, теперь наш разговор точно был окончен. Я раскрыла упаковку печенья и предложила Ивану. Немного помедлив, он вытянул одно, улыбнувшись в ответ.

— Столько лет прошло, а помню, как вчера. В прошлом году умер отец. Он единственный не хотел уезжать из Кыргызстана, все повторял: «Никуда я не уеду, это моя родина! Хотите — уезжайте. А я останусь здесь!» Он любил в Бишкеке всё: свой дом, огород, соседей, природу, еду. А заграница ему не нравилась. Воздух, говорил, другой. В Алма-Ате особенно. А меня уже ничто не держало в Кыргызстане, вот я и двинул. Недалеко, конечно, но уехал.

Я промолчала, доедая печенье всухомятку.

Когда мы доехали до вокзала, Иван предложил подвезти. Но я отказалась, сославшись на то, что нам было не по пути.

Я заказала такси и ждала машину, любуясь видом у озера Сайран. Ночью там атмосферно: зажжённые фонари, горы Ала-Тау, безмятежная водная гладь.

За мной приехала белая «Тойота». Водитель, не спросив разрешения, закурил.

— Сегодня по новостям слышал, как Алма-Ата побила рекорд по степени загрязнения воздуха, — бодро начал он, выдохнув струйку дыма в открытое окно.

Я пожала плечами и надела наушники, провожая взглядом двух бегунов, которые наматывали на мосту очередной круг.

В тот октябрьский вечер я, вернувшись после велосипедной прогулки, обнаружила дома обеспокоенных родителей. Папа качал головой и восклицал на всю комнату: «Кап, кап, ушундай да болобу? Кызыым, ал жакта жаман болуп жатат!»<sup>1</sup>

«Ну, их же разогнали», — спокойно отреагировала я и начала готовить ужин.

Я родилась в Бишкеке, но у меня южные корни. «Я — алайская», — гордо сообщала я всем знакомым в детстве. Поэтому в центре стола у нас по традиции — большая тарелка плова из узгенского риса на бараньей кости. Обязательные атрибуты плова — желтая морковь, не оранжевая, потому что только желтая придает рису сладость, головка чеснока и зира — сущеная приправа. К плову обязательно подают салат шакарап: тонко нарезанные помидоры с луком, перцем и солью. В Казахстане этот же салат называется ачуучук.

Папа принес горячие тандырные лепешки, я заварила зеленый чай и подготовила пиалы с сине-белыми узорами — мастихэв любой советской азиатской семьи.

Сказали «Бисмиллях», приступили к еде и услышали звонок. Я долго не понимала, откуда он идет, потому что на домашний нам уже давно никто не звонит. У всех сейчас мобильные.

Я сняла трубку.

— Алло, алло? Ким бул? Кызыым, апаңды чакырсаң!<sup>2</sup>, — услышала взволнованный голос.

— Саламатсызыбы, азыр<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> Ужас, ужас, что творится. Дочка, там настоящий кошмар!

<sup>2</sup> Кто это? Доченька, позови маму.

<sup>3</sup> Здравствуйте, минутку.

Мама подошла к телефону и узнала по голосу давнюю подругу — Махаббат-эже. Из трубки доносилась ее невнятная речь вперемешку со всхлипываниями. Мама дала кое-какие рекомендации (она врач) и вернулась к столу.

— Представляете, Чынгыз, сын тети Махаббат, сегодня был на митинге. Их там разогнали, но резиновая пуля рассекла ему ухо. Кудай сакта!<sup>1</sup> Они не стали вызывать «скорую», вот она мне и позвонила, — рассказывала мама, отламывая кусок горячей лепешки.

— Ай-ай-ай, байкуш бала. Митингге эмнеге барды? Партиянын курамында болчу бекен?<sup>2</sup> — спросил папа, покачав головой.

— Да, он был в одной из партий, что не прошли семипроцентный барьер. Одни из первых были на площади сегодня.

— И как он? Сильно пострадал?

— Думаю, что ушиб головы.

Я оставила родителей и написала Чынгызу в Вотсан. Чынгыз — мой друг детства по двору. Я всегда была тихоней и не умела за себя постоять. Чынгыз же всегда защищал меня: несмотря на маленький рост, он был крепкого телосложения и никогда ни перед кем не тушевался.

Странно, что я не узнала голос Махаббат-эже, ведь раньше мы так часто общались.

Чика, салам)

Салам какие люди)

Ты где это пулью заполучил?

Откуда вести?)

Слышала да)

Конечно)

Твоя мама звонила моей

А... ясно) да вот на площади погоняли менты

Но я увернулся

Красавчик)

:)

Ты откуда здесь? Ты где вообще?

Приехала к родителям) пару недель как Бише)

Надолго?

Не решила еще) на удаленке.

Пока побуду тут, недельку-другую)

Ясно

И как тебе наши новости?

Да чет не очень)

То ли еще будет

Знатно погоняли вас там?)

Неслабо

Ну я так и думала))

Дошло наконец что мы не шутим

Никто там не шутит) Вас же по домам разогнали)

Но мы не остановимся

Да харош)

<sup>1</sup> Да убережет нас Бог!

<sup>2</sup> Ай-ай-ай, бедный парень. Зачем он туда пошел? Он что, был в партии?

Нельзя все бросать сейчас.  
 Дальше больше  
 Без вариантов  
     В смысле?  
     Ты о чем?  
 Кто если не мы?  
 Простой честный народ  
     Вы что дальше пойдете?  
 Я у себя дома  
 Значит мне и решать кому сидеть наверху  
 Достало быть стадом  
 А тебе разве нет  
 Или ты тоже как эти балконские  
 Только и можете критиковать сидя дома  
     Чика, я тебя не узнаю  
 А что по твоему я должен делать  
 Свалить за бугор как ты и сидеть в теплом кресле  
 Работать на дядю  
 У нас полстраны заграницей  
 Задумайся почему  
 И никто возвращаться не спешит  
 А ты то что сделала для страны?  
     Да я хотя бы ее не рушу  
     А чем поможет этот твой митинг?  
 В смысле чем? Да всем!  
 Я выражаю свое несогласие, я хочу  
 навести порядок, я хочу убрать воров, я хочу жить нормально.  
 я не хочу работать за копейки, кормить толстосумов  
 и переписываться с родственниками которые таксуют в Москве  
 или пропадают на стройках  
 это ты хорошо устроилась, но поверь не все так  
 не у всех есть образование  
 Меня лично бесит что мой народечно в  
 наемниках у других  
 Мы че им терпила какие-то?  
 Сидел этот Сооке, ниче не мог сделать  
 люди вон поумирали  
 И выборы эти сплошное вранье  
 Видела сколько былобросов?  
     Видела  
     Но ты как будто забыл, что уже было две революции?!

И че толку? Поменялось что-то?

Толк то есть, но это же не сразу  
 Раз! И зажили как в сказке,  
 Надо идти дальше  
 просто нас используют и все время приходят не те  
     Да потому что революцию делают романтики  
     А плодами пользуются негодяи.  
     Вас просто всех перебьют и делу конец.  
     При этом вы еще рушите все — это как?  
     Тоже на благо родины?

Это побочка  
 Я лично не граблю  
 Тут же все стихийно, это не остановишь  
     Да ладно тебе, стихийно.  
     Все же проплачено  
     Сколько тебе обещали?

...(печатает)

Последний визит в 22:53

Ладно, я не хотела с тобойссориться.  
 Будь осторожен  
 Подумай о маме

Две синие галочки.

Последний визит в 22:56.

\* \* \*

Ночью я зашла в Инстаграм пролистать ленту и увидела в актуальных «историях» аватарку Чынгыза в красной рамке. Нажала на кнопку и попала в прямой эфир.

Весь экран занимало лицо моего друга — горящие глаза и широкая ухмылка. Обросший. Во время карантина многие стали отпускать бороду. Голова с правой стороны обмотана бинтом. Чынгыз в кепке, машет рукой в камеру: «Саламалейкум, друзья! Я сейчас вместе с ребятами на площади. Мы были здесь с утра; вы сами видели, как нас, безоружных, разогнали, применив силу. Меня задели резиновой пулей (поворачивается), один товарищ сейчас в больнице с раненой ногой.

*Но, друзья мои, мы не сдадимся! Вы слышите? Вчерашиие выборы были верхом издавательства над простым народом. Мы больше этого терпеть не будем! Не будем! К власти пробрались те же люди, которые наживались на нас все это время. Так вот — сегодня мы будем бороться за справедливость!!!* Камера отъезжает: ночь, площадь Ала-Тоо, с ним еще человек пятьдесят идут в направлении Белого дома, возле которого уже стоит толпа, скандируя: «Сооке кетсин! Сооке чыксын!»<sup>1</sup>

В эфир добавляются люди и комментарии:

- Ойбоой, Чынгыз! Каякта журосун, ай?<sup>2</sup>
- Ахаха, Чика, болсун болсун!<sup>3</sup>

\* \* \*

В кадре: мужики перелезают через ворота. Какой-то дядька шатается и тащит скамейку к забору, чтобы перелезть за ними. Люди вооружены кто чем: палками, кирпичами, камнями.

\* \* \*

В кадре: коридор Белого дома. Белые стены, на полу красный ковер с узорами. Впереди идут люди — некоторые в колпаках. Двое забежали в первый кабинет. Послышался треск. Камера подходит ближе. Молодые парни, вооружившись стульями, разбивают окна и компьютеры.

---

<sup>1</sup> Сооке — укороченное имя Сооронбая Жээнбекова. «Сооке уходи! Сооке вон!»

<sup>2</sup> Ого, ты где это, Чынгыз?

<sup>3</sup> Молодец, Чынгыз!

В следующем кабинете мужчины срывают со стены портрет Сооронбая Жээнбекова и, бросив его на землю, пританцовывают на его изображении. Другие рыщут в шкафах, вытаскивают документы с полок и швыряют их на пол. Слышны крики и топот.

В коридоре появился дым. Камера показывает, как из дальнего кабинета выбегают трое ребят; все трое ухмыляются.

\* \* \*

В кадре: 3:20 ночи. Несколько мужчин, вооруженные палками, идут в направлении СИЗО. Перед СИЗО собрались люди, скандирующие: «Садырды чыгаргыла!»<sup>1</sup>

\* \* \*

В кадре: Двое надевают калпак на голову Садыра Жапарова и под руки ведут его в сторону микроавтобуса. Ребята вокруг провожают его аплодисментами.

За несколько часов произошло многое: протестующие прорвались в Белый дом, а позже и в здание ГКНБ. Из изолятора ГКНБ выпустили осужденных политиков: бывшего президента Алмазбека Атамбаева, Садыра Жапарова — последнего отвезли на центральную площадь Ала-Тоо, где тот произнес вдохновляющую речь. Пока весь мир наблюдал за мирными белорусами, которые уже третий месяц еженедельно выстаивали митинги; за взятием Капитолия в Штатах и за волнениями в России из-за Навального, — кыргызы за ночь свергли правительство.

Пройдет еще немногого, и президент Сооронбай Жээнбеков, а следом за ним и спикер Жогорку Кенеш сложат полномочия. Садыр Жапаров станет временным премьер-министром Кыргызстана. Правительство объявит нелегитимным. Страна поделится на сторонников Жапарова и на его противников. Выборы нового президента и референдум о президентской форме правления назначат на начало января, явка на них составит 39%. По итогам голосования с большим отрывом победит Жапаров. А Кыргызстан вновь станет страной с президентской формой правления.

Народ достиг цели. Только какой ценой?

И вот я стою на площади Ала-Тоо. Утро. Шесть часов.

На деревянных скамейках мусор: пакеты, пустые бутылки, почерневшая кожура бананов. Мусорные баки перевернуты со всем их содержимым. Вокруг газонов и арыков — разбитые плиты и бордюры, поломанные дорожные знаки. В центре проспекта Чуй догорает костер: обугленный деревянный стол и макулатура. В близлежащих магазинах выбиты стекла. Кое-где можно увидеть кучи камней и поломанного кирпича — детьми мы так собирали снежки, а митингующие — готовились отбиваться. Начинают собираться люди в оранжевых куртках. Это ребята-волонтеры «Тазалык» пришли делать уборку. Некоторые из них позднее будут участвовать в добровольном движении дружинников и защищать торговые центры, Дом Правительства, кафе и магазины.

Двое подметают улицу, мягко шаркая метлами по асфальту, другие собирают в пакеты обломки плит, плакаты и упаковки от еды. Были даже школьники — шумная ватага весело собирала фантики, а маленькая девочка лет пяти, шмыгая носом, мельтешила у них под ногами. Ко мне подбегает улыбчивый мальчишка в джинсовой кепке и протягивает мешок:

— Журуңуз, буларды баарыбыз чогуу тазалайлы!<sup>12</sup>

---

<sup>1</sup> Свободу Садыру!

<sup>2</sup> Пойдемте, уберем это вместе!

## Публицистика

*Алексей Буров, Геннадий Прашкевич*

# О будущем, неуклонно превращающемся в прошлое

*Два письма на одну тему*

*Геннадий Прашкевич*  
**В каком времени мы живем?**

Дорогой Алексей!

В октябре 1945 года в Москве вышла научно-фантастическая повесть Сергея Беляева (не путать со знаменитым однофамильцем) — «Десятая планета».

«Двадцатого октября 1956 года, — так начиналась повесть, — к вечеру погода окончательно испортилась. Над зданиями Главного астрономического института нависли серые низкие облака...»

Двадцатого октября 1956 года! Ничего себе!

Книжка вышла в октябре 1945 года, действие ее происходило в октябре 1956 года, а мне в руки она попала в октябре 1958 года, то есть всего лишь через два года после событий, описанных в ней.

Помню свое ошеломление.

Для 1945 года (а Беляев, конечно, написал свою повесть раньше) 1956 год, описанный в книжке, был для ее героев самым настоящим *будущим*. А я книжку начал читать аж в 1958 году, значит (я это сразу просчитал), все, о чем в ней говорилось, для меня было уже *прошлым*. То есть сам я по отношению к героям (а к ним я тогда относился как к реальным людям) находился в будущем, в *будущем*! Я даже кинулся к окну, поскорее увидеть, что там изменилось. Вот, обнаружили герои повести еще одну, десятую, планету Солнечной системы, расположенную (по отношению к Земле) точно за нашим Солнцем, это еще ничего, это ладно, я вполне мог проморгать такое крупное научное открытие, ведь жил все-таки не в столице, а на небольшой железнодорожной станции Тайга (Кузбасс). Ну, двигалась открытая астрономами новая планета с той же скоростью, что Земля, то есть оставалась за нашим Солнцем, оставалась для нас невидимой, это тоже ладно. Но то, что советский академик Солнцев, оказывается, уже два года назад побывал на этой планете (с помощью специально построенного для такой экспедиции планетоплана), об этом я обязательно должен был слышать, ведь репродуктор на стене у нас никогда не выключался; но проморгал!

«Ряд приземистых, низких, как бы вросших в почву строений расстипался перед ним (перед академиком). Окна в переплетах тяжелых решеток зияли, словно глаза мертвецов. У ближайшего строения стоял низколобый человекообразный маньяк. Он был тяжел и неподвижен, как изваяние. Он держал в поросших шерстью передних лапах странный длинный предмет с острием на конце...»

Такого вот типа увидел академик Солнцев на десятой планете.

Ну, это тоже ладно. Кого не встретишь на других планетах: от жукоглазых до поросших шерстью! Ученые к такому привычны. В монографии палеонтолога Алексея Петровича Быстрова («Прошлое, настоящее, будущее человека», Л., Медгиз, 1957) я уже читал о том, как отнеслись его коллеги к первым находкам костей одного из наших общих предков — неандертальца. Р. Вагнер был совершенно уверен, что найденные обломки принадлежат черепу древнего голландца. Прунер-Бей находил в ней (в черепной крышке) признаки кельта. Хами утверждал, что не раз встречал на улицах Брюсселя людей, черепа которых нисколько не отличались от неандертальского. Мейер считал, что найденный обломок черепа принадлежит простому русскому солдату из монголов: в 1814 году при преследовании одного из наполеоновских отрядов он, видимо, был ранен, заполз в пещеру и там умер. А знаменитый Вирхов опытными своими глазами разглядывал в неандертальском черепе остаточные следы ракита (болезни, конечно). Так что ничуть не удивило меня появление в повести Сергея Беляева какого-то инопланетного низколобого человекообразного существа. Мы слишком хорошо помнили войну, мы еще чувствовали ее тяжелое дыхание. Появление (в книжке) из каких-то кирпичных бараков измощденных, измученных, явно подневольных людей меня тоже нисколько не удивило...

К счастью, и на десятой, совсем недавно открытой планете в долгой и страшной войне победили (как и у нас на Земле) не низколобые маньяки с палками, а те сильные прямые люди, что освобождали мир от всяких насильников и теперь собирались строить счастливую свободную жизнь. «Вот, взгляните, — воскликнул один из героев повести, — как облагораживает творческий самоутверженный труд!»

И академик Солнцев взглянул и увидел дикие, еще не освоенные пространства.

И увидел, как красивые сильные люди очищают замусоренные войной поля, радостно возводят величественные здания. А в них, в этих величественных зданиях — просторные светлые залы, наполненные умными гудящими машинами, и знающие светлые люди — сосредоточенные и серьезные.

Преображеный мир! Мир, в котором *будущее* уже наступило.

Но когда это произошло?

Как вообще наступает будущее?

Планетоплан академика Солнцева добрался до десятой планеты нашей Солнечной системы в 1956 году, а я читал книгу Сергея Беляева в 1958-ом, то есть (повторюсь) через два года *после* уже описанных в ней событий!

Значит, я уже в будущем?!

Значит, я уже целых два года живу в будущем?!

Ну да, так получалось. Но где описанные Сергеем Беляевым чудесные высотные здания? Где невероятная, необыкновенная, фантастическая техника? Где красивые творческие веселые люди с высокими устремлениями? Вон за окном знакомая узкая улица в грязных лужах, деревянные тротуары, усталые люди в ватниках и серых плащах. Дождь сеет, листья опали. Перед «Продмагом» очередь за хлебом.

Неужели это и есть наше (моё) будущее?

Я прекрасно знал всех соседей по улице Телеграфной: кочегары, плотники, конюхи, возчики, сцепщики, сторожа да просто разнорабочие, ни одного не было в Тайге астронома или палеонтолога. По праздникам пели знакомые песни, распивали сваренную брагу, обсуждали повышение цен. Да, конечно, говорили и о будущем: вот, кстати, обещали завезти каменный уголь к школе; вот, кстати, на редких уличных тумбах появились афиши новых фильмов. Все помню. «Атаман Кодр», «Андрейка», «Военная тайна», «Возвращение на Землю». Первые три понятно: тридцатые годы девятнадцатого века (конюх-молдаванин Тодор полюбил горничную своего барина); июльские дни 1917 года в Петрограде (метания героев, выбор нового); предвоенные годы (девушка Натка мечтает стать капитаном, вешь при новом строем вполне возможная). Четвертого фильма я особенно ждал: «Возвращение на Землю». В афише коротко было сказано, что молодой чабан Ермек Жакипов, мечтавший (как и я) о путешествии в космос, бросил свою отару и уехал в город. Он готов к любым трудностям, он готов выполнить любое задание, и я верил, что он вернется в конце концов не к надоевшей своей отаре, а на нашу прекрасную Землю — землю будущего.

Конюхи, кочегары, сцепщики, грузчики, пастухи окружали нас.

Будущее манило, но никак не наступало. Дождик моросил над дымными станциями. Засыпали гравием дорогу, отремонтировали клуб им. Ленина, открыли несколько новых магазинов, даже книжный! Да и как иначе? Ведь мы, если верить писателю Сергею Беляеву, уже побывали на другой планете!

Так что же это такое — будущее?

Мы задыхаемся, ждем его. Вот-вот наступит.

Вот-вот, совсем скоро исчезнут очереди в магазинах, появятся в достаточном количестве хлеб, мясо, яблоки, книги. В огородах все будет расти, как в Африке. Каменный уголь (единственный экземпляр естественной каменной книги прошлого) не будут больше сжигать в топках электростанций; это же все равно что топить печи бесценными историческими документами. Даже монтер Галкин перестанет обрезать электрические провода за скопившуюся (ну нечем платить!) неуплату.

Все ждут будущего. Обсуждают, спорят.

Впрочем, много информации — тоже вредно.

Что же оно такое, наше будущее? Можно ли понять и приблизить то, о чем мы даже ясного представления не имеем? Писатель и философ Станислав Лем, например, прямо утверждал, что *будущее непредсказуемо*. «Наши попытки, — писал он, — предсказать будущее напоминают попытки предвидеть развитие сложных шахматных партий. Причем шахматы, с которыми мы имеем дело, таковы, что игрок в любой момент может — вместо того, чтобы сделать следующий ход, выхватить из кармана нож, палку или разбить доску о голову партнера, если по какой-либо причине сочтет это нужным».

Не слишком оптимистично, правда?

У Андрея Платонова (в романе «Чевенгур») будущее мягче.

«Организуем фонтаны, землю в сухой год намочим, бабы гусей заведут, будут у всех перо и пух, — цветущее дело!» Чтобы сразу и окончательно организовать такой чудесный и простой коммунизм, такое простое и чудесное в сущности будущее, строители Платонова просто ложатся на пол в своем нищем деревянном бараке. Зачем работать, к чему тратить силы? Ведь работа — это уступка уничтоженному капитализму, работа производит продукт, а продукт напрямую приводит к эксплуатации. «Коммунизм придет сам. Если в Чевенгуре нет никого, кроме пролетариев, — больше нечему быть».

К сожалению, будущее медлит.

К сожалению, мы живем в непредсказуемом мире.

Стiven Хокинг, физик, считал: мы вообще живем в искаженной реальности. «Невозможно познать истинную природу реальности: мы считаем, что четко представляем себе окружающий мир, но, говоря метафорически, мы обречены всю жизнь провести в некоем аквариуме, так как возможности нашего тела не дают нам шансов выбраться из него».

У пророков тоже свой взгляд на будущее.

Взгляд волнующий, тревожный, это вам не полет на десятую планету.

«Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас; ибо многие придут под именем Моим, и будут говорить: "Я Христос", и многих прельстят. Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь; ибо надлежит всему тому быть. Но это еще не конец: ибо восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут глады, моры и землетрясения по местам; все же это начало болезней. Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас; и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое. И тогда соблазнятся многие; и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга; и многие лжепророки восстанут, и прельстят многих; и по причине умножения беззакония, во многих охладеет любовь; претерпевший же до конца спасется...»

Но как узнать о приходе будущего?

Может, по уже выстроенным небоскребам, по новым и новым достижениям новейших технологий? Может (а почему нет?), по похоронам? Все вокруг нас находится как бы в неустойчивом равновесии. Непрерывное появление новых особенностей у различных живых видов меняет мир. Одни уходят, должны уйти, другие приходят, свято место пусто не бывает. Или о будущем с уверенностью можно сказать только то, что оно все равно *наступит*? А раз наступит, раз это так определено,

## Критика

# «Вирусный» мир: спасательный круг чтения

*Разговор с колумнистами Ольгой БАЛЛА и Александром ЧАНЦЕВЫМ  
о литературных итогах 2021 года ведет Наталья ИГРУНОВА*

**Наталья Игрунова:** По традиции — в первых номерах «ДН» подводим литературные итоги ушедшего года. В январском номере мы предложили критикам рассказать о том, что ими пережито как личное событие, связанное с литературой: прочитанная или перечитанная книга, писательская судьба, встреча, чья-то яркая гипотеза или полемическая мысль... Ключом была формула Ираклия Андроникова: «Я хочу рассказать вам...»

Для меня — это прежде всего год утрат: Валентин Курбатов, Николай Аркадьевич Анастасьев, Игорь Шкляревский, Александр Ерёменко, Ксения Драгунская, Василий Голованов, замечательный белорусский поэт Алеся Рязанов, армянский переводчик Георгий Кубатьян...

**Ольга Балла:** Среди особенно горьких утрат минувшего года я бы упомянула ещё смерть поэта и организатора литературной жизни Людмилы Вязмитиновой, филолога и просветителя Мариэтты Чудаковой, поэта Василия Бородина, юной Софии Камилл — русско-шведского поэта и переводчика. А если посмотреть за пределы нашего культурного круга, — французского поэта Филиппа Жакоте, французского философа, эссеиста Франсуа Федье, двуязычного русско-эстонского поэта Яна Каплинского (даже трёхязычного, учитывая вырусский диалект эстонского, на котором он тоже писал). Смириться со смертью не получается в принципе, но в случае Бородина и Камилл это невозможно просто никак. В лице Бородина, по собственной воле не дожившего и до сорока лет, мы потеряли, по моему разумению, одного из самых значительных — теперь уже можно не бояться говорить пафосно — поэтов нашего столетия. Это и к вопросу о писательских судьбах. История Васи Бородина произвела на меня тяжелейшее впечатление в этом июне; история (едва известная мне, но этого достаточно) Софии Камилл — чистое отчаяние: ей, яркой, сильной, щедро и счастливо одарённой, было всего восемнадцать. Теперь у нас появились веские основания к тому, чтобы издать одним корпусом и перечитать то, что они успели написать, продумать их значение, место в культуре и т.д., — но лучше бы не было у нас этих оснований, а они бы жили.

**Н.И.:** Светлая память им всем и тем, кого мы не назвали. И очень хочется надеяться, что при этом продумывании их места в культуре не получится, как с ушедшим на Рождество Александром Павловичем Тимофеевским: почти все сообщения начинались с того, что не стало автора «Песенки Крокодила Гены», — то есть с того, что его всегда раздражало и обижало...

Вы участвовали в январском «дружбинском» опроснике, Александр, и в отличие от абсолютного большинства критиков, рассказавших об одной из книг минувшего года, сделали выбор в пользу перечитывания — стихов Вениамина Блаженного.

**Александр Чанцев:** Мне кажется, в нашем литературном процессе — когда все, казалось бы, издается, все доступно и так далее — немало слепых пятен. Вениамин Блаженный — одно из них. Много ли рецепции (обсуждений, публикаций) заслужил Владимир Казаков, потрясающий стилист, абсурдист, вообще очень тонкий, изысканный писатель? Количество статей о нем можно проверить на «Википедии» (плюс несколько еще). Из, слава богу, ныне здравствующих — Владимир Богомяков. Когда есть очень сильный крен (подпитанный, понятно, определенными институциями, интеллектуальной модой — разговор сейчас не об этом) вроде издания полного собрания сочинений Пригова, книг о нем, посвященных ему конференций, то другие как были в тени, так там же и остались. Их — оставили.

**Н.И.:** Но вы оговорили — что это одно из самых ярких впечатлений ушедшего года, что год был посвящен заполнению лакун. Какие и чем были заполнены лакуны, о чем бы хотелось рассказать еще?

**А.Ч.:** Для меня ярким впечатлением были классика, перечитывание. Та же пандемия погрузила нас в странное, амбивалентное состояние. С одной стороны, все затормозилось, все приостановлено. С другой, происходят столь стремительные изменения — не только в качестве жизни, но в самом человеке, социуме, механизмах общения — что нужны какие-то основания и якоря. Современная литература не успела еще среагировать, как сейчас говорят, на новые вызовы, но можно найти что-то в старых книгах. Не только — это довольно банально, даже для поста в Фейсбуке — предсказания той же пандемии (будь это «Фауст» Гёте<sup>1</sup> или «Уход в Лес» Эрнста Юнгера<sup>2</sup>), но ответ на какие-то фундаментальные вопросы, на которые, видимо, люди так толком и не ответили, коли попали опять в ту же самую ситуацию.

**Н.И.:** В нашем разговоре я бы предложила оттолкнуться от понятия дополненной реальности — опция своего рода виртуализации и дополнения заложена в «функциональной литературе (причем напрямую зависит от личного опыта и от полётности и дотошности воображения читателя). Прожит еще год в «вирусном» мире. Что привнесла в ограниченную пандемией, тревожную и богатую неожиданностями жизнь литература? Сейчас принято назначать главных: главный фильм года, главное шоу, главная премия, — и все же давайте будем демократичны и просто назовем самое заслуживающее внимания на наш субъективный вкус. И, конечно, обоснуем. Оговорю: это могут быть книги и журнальные (и сетевые) публикации, «художественные» тексты (проза, поэзия, эссеистика) и любой нон-фикшн, отечественные, русскоязычно-зарубежные и переводные.

Итак.

Самые неожиданные для вас сюжеты, самые яркие герои.

**А.Ч.:** И герои, и сюжеты (можно ли изобрести новый сюжет сейчас? Еще Борхес был скептичен на этот счет), скорее, издательские.

**Н.И.:** Оль, как ты думаешь, Александр не обидится, если тут сделать круглые глаза: «Борхес? Четыре сюжета? Что вы говорите?!» Ну серьезно, речь же не об архетипах, а о завязках и поворотах — затягивающих, остроумных, красивых.

Спроси меня — первое, что пришло бы в голову, — роман Наринэ Абгарян «Симон», на первых страницах которого в маленьком армянском городке у одра скоропостижно скончавшегося местного каменщика-Казановы собираются бывшие возлюбленные и вместе со вдовой пытаются решить проблему его посиневших ушей. Потом, конечно, оказывается, что свела их Абгарян вместе, чтобы рассказать историю каждой... Или, скажем, роман «Русский Стикс» Георгия Гратта — в непознанной местности между Смородиной и Почаем, в сказочном пространстве и времени он собирает под одной крышей классиков русской литературы. Как их занесло в эту печальную глуши, им неведомо. Играют в карты, беседуют со своими героями, спорят о судьбах России и смысле жизни, а когда чувствуют,

<sup>1</sup> [http://www.chaskor.ru/article/faust\\_koronavirus\\_i%C2%A0kotiki\\_apokalipsa\\_46176](http://www.chaskor.ru/article/faust_koronavirus_i%C2%A0kotiki_apokalipsa_46176)

<sup>2</sup> <https://www.peremeny.ru/blog/24671>

что «на большой Земле» умирает память о них, уходят поодиночке и ступают на Калинов мост...

*Вот и вы сейчас, сказав об издательских сюжетах, неожиданно обозначили важный новый поворот разговора.*

**А.Ч.:** Я, конечно, не обижусь, но и назвать какие-то особо яркие сюжеты — какие были, например, в кинематографе, что зарубежном, что нашем, — вряд ли смогу. А вот то, что в очень непростое с финансовой, логистической и прочих точек зрения время издательства работали, издавали удивительные книги, — это, действительно, потрясающее. И делали это даже не мейджоры — им сам Бог велел — а средние, скажем так, и маленькие издательства. «Иван Лимбах», «Алетея», Jaromír Hladík press. Последний в качестве его директора — и единственного человека в издательстве? Могу ошибаться, но других не знаю — накануне нового года объявил о покупке прав на перевод и издание 900-страничной канонической биографии Беккета, написанной Джеймсом Ноулсоном. Еще их же анонс: «В конце февраля — начале марта в Jaromír Hladík press выйдет 864-страничный сборник материалов о легендарном композиторе, музыканте, создателе ансамбля старинной музыки “Мадригал” Андрее Волконском, с многочисленными фотографиями и другими иллюстративными материалами». За издание таких книг — а этим каталог не ограничивается — нужно давать премию и в «мирное время», во времена ковидные — премию двойную.

Особенно радостно, что — думаю, я вспомнил сейчас далеко не все издательства — таких малых издательств довольно много. И если «Лимбах» и «Алетея» — издательства старые, с традицией, то появляется и много молодых — во всех смыслах, имею в виду прежде всего возраст делающих их людей — издательств. «Носорог», «libra». Не знаю, за счет какого именно финансирования они существуют, но в любом случае это достойно снимания всех шляп.

**О.Б.:** К неожиданным сюжетам стоит отнести книгу Филиппа Дзядко «Глазами ящерицы», которую хочется упомянуть в этом разговоре не раз и по разным поводам. Это читательский дневник, дневник понимания — «несуществующего» поэтического сборника, который волею случая составился из существующих стихотворений Михаила Айзенберга. Эти стихи Айзенберг присыпал автору в письмах; потом они вошли в другом порядке в другие сборники; в глазах же Дзядко-читателя они составили целое, и он написал хронику собственных внутренних событий в ответ этим текстам. Отчасти это родственно тому, что у себя в ЖЖ под тэгом «дневник читателя» много лет с героическим одиноким упорством делает Дмитрий Бавильский, о котором мне тоже чувствуется нужным говорить здесь не просто неоднократно, а едва ли не по каждому (ну, чуть преувеличиваю) из поводов. В последнее время он пишет больше не о новейших изданиях, а о книгах, вышедших давно и перечитываемых теперь, о смыслах перечитывания, о происходящей при этом перенастройке взгляда, — я подозреваю, он чуть ли не единственный, кто делает такое сегодня, притом в той же мере основательно, в какой и бескорыстно, поскольку гонораров от Живого Журнала не дождаться. К неожиданному: в этом году Бавильский снова стал, после очень долгого перерыва, рецензировать поэзию, написал о сборниках Галы Пушкаренко — гетеронима Олега Шатыбелко и о «Нерасторопном празднике» Ростислава Ярцева (См. рецензию Дмитрия Бавильского на книгу стихов Ярцева в январском номере «ДН». — Н.И.).

Ещё из неожиданного — «Разговор с отцом» священника и религиозного писателя Владимира Зелинского. Отец автора — Корнелий Люцианович Зелинский, оставшийся в культурной памяти прежде всего как одиозный критик, уничтоживший своей внутренней рецензией подготовленный в 1940 году и из-за этой рецензии так и не вышедший последний сборник Марины Цветаевой («О сволочь Зелинский!»). Честно сказать, в моем сознании два этих человека размещались на разных полюсах бытия и не соотносились друг с другом никак (ну, думалось, однофамильцы).

Они оказались ближайшими родственниками; более того, отец Владимир, носитель явно совсем других ценностей, чем Корнелий Люцианович, относится к нему с любовью и благодарностью, прекрасно отдавая себе отчёт в тёмных сторонах его личности, в сложности её, и в книге старается его понять, не судя и не оправдывая, но прослеживая устройство его мотивов. Это о том, что любовь не означает и не требует ни согласия, ни оправдания, но, не отменяя идейных различий, она важнее и сильнее их.

Самый яркий герой года для меня — поэт Богдан Агрис, стремительно набирающий силу, издавший вторую книгу («паутина повилица»), уже написавший (или почти?) третью (становление ее можно было наблюдать в фейсбуке), а осенью создавший вместе с Валерием Шубинским «авторский» — программно пристрастный, посвящённый исключительно поэзии журнал «Кварт». Вышло уже два номера, готовится третий.

Если издательство *Jagomír Hladík press*, как сказал Александр, действительно состоит из единственного человека — поэта Игоря Булатовского, есть все основания назначить Игоря вторым ярчайшим героем года: *Jagomír Hladík* издаёт книги, я бы сказала, концентрированной изысканности и высокого эстетического и интеллектуального напряжения, — большей частью прозу и эссеистику, но случаются и — редкие и яркие — поэтические вкрапления, как, например (кстати, тоже 2021 год) «Колесо обозрения» Александры Цибули. Из изданий 2021-го необходимо назвать (теперь я просто вынуждена изъясняться скороговоркой списка, иначе этот текст никогда не закончится, а упустить важное — несправедливо) «Хочется только спать» Василия Бородина, «Финские ночи» Станислава Снытко, «Отделение связи» Полины Барковой, «Синюю изоленту» Марианны Гейде, «Роман» Марка Петрова, «Франкфуртского быка» Олега Юрьева — семь сложносоотнесённых между собою рассказов, «Составителя бестиариев» Валерия Вотрина, «Четыре поэта: Рильке, Клодель, Элиот, Целан» Ольги Седаковой и её же, переизданная *Jagomír Hladík* «Апология разума», интеллектуальная биография Сэмюэла Беккета «Беккет: путь вычитания», написанная Анатолием Рясовым; «Под взглядом Другого. Тринадцать размышлений о предметах видимых и невидимых» Александра Черноглазова. Из переводного: перевод (свободным стихом) избранных стихотворений Шарля Бодлера, выполненный главой издательства Игорем Булатовским; «Как текст становится евреем» — два эссе французского философа, музыковеда, специалиста по иудаике Даниэль Коэн-Левинас, в которых анализируется прочтение Жаком Деррида Пауля Целана. Ещё одно исключение из прозаических и эссеистических предпочтений издательства *Jagomír Hladík* — сборник пьес венгерского писателя Петера Надаша в переводах Оксаны Якименко, к разговору о котором у нас ещё будет повод вернуться.

(Список не исчерпывающий — он включает в себя только те книги, которые попали мне в руки и вмешаются в круг моего понимания и разумения. Книги о музыке — например, «Гленн Гульд берёт интервью у Глена Гульда» — к сожалению, в него не вмешаются.)

Ты спрашиваешь, Наташ, что привнесла в ограниченную пандемией жизнь литература? Она получила много новых возможностей к тому, чтобы быть написанной (например, дневник личной и семейной памяти Ольги Медведковой «Ф.И.О.», вышедший в 2021-м, впрямую обязан своим существованием самоизоляции 2020-го) — и — внимательно и жадно — прочитанной. Ограниченнная во внешних формах, жизнь с необходимостью устремляется внутрь, — и литература — одно из вернейших (а по моему разумению — и наилучших) средств к этому. Словом, литература (даже без того, чтобы изменились модели, по которым она строится, — такое быстро не делается) уже привнесла в жизнь, по крайней мере, интенсивность и расширение внутренних пространств.

## Литературный барометр

Евгений Абдуллаев

### Гений не нужен

Почему не нужен?

А вот просто — «не нужен».

И даже не какой-то конкретный. Поэт N или прозаик Z, например. Давно уже никого в гении не производим. Даже с «талантом» осторожничаем. Само понятие — «гений» — уже, наверное, лет тридцать не в ходу.

Где-то с конца 2020 года оно, однако, оказалось неожиданно реанимированным. Причем в несколько странном виде. Напомню.

1 декабря 2020 года были объявлены лауреаты премии Андрея Белого; в номинации «Литературные проекты и критика» премию получил сетевой проект «Ф-письмо». То есть интернет-платформа, на которой (как сообщается на ней) «публикуются тексты, действующие, проблематизирующие или анализирующие квир- и феминистскую логику письма».

Два дня спустя участницы «Ф-письма» опубликовали коллективное письмо. В нем они отказывались от награды и объясняли причины<sup>1</sup>. Кто-то из участниц обиделся на то, что наградили всех скопом, а не поименно; кто-то увидел в награждении «популистский ход»... Обращу внимание на аргумент, прозвучавший в высказываниях двух участниц.

«Несколько лет назад премия Белого заняла принципиальную позицию, согласно которой письмо и личные качества пишущего/ей никак не связаны. ...На мой взгляд, это проблема, о которой говорит Беньямин, когда пишет о фашизме языка. Он говорит о гении как о привилегированной фигуре, которая наделена своего рода божественным даром, способностью расслышать и зафиксировать что-то важное. Гений занят трудным божественным делом, поэтому ему позволено трансгрессировать, нарушать границы, которые не позволено нарушать остальным. Беньямин говорит о том, что такое представление о пишущем/ей, или — шире — создающем/ей что-то новое, является фашистским в своем основании, так как оно предполагает эссециалистское превосходство одних людей над другими. Следовательно, отношение к пишущему/ей, художнику/це как к гению должно быть преодолено. ...Ф-письмо всегда было важно для меня именно потому, что мы все пытаемся говорить из каких-то других позиций, не из позиции гения. Эта позиция устарела и должна быть оставлена в двадцатом веке, где ей и место».

Это пишет Мария Бикбулатова, «выпускающая редакторка журнала Ф-письмо, философия, переводчица». Следом, буквально в тех же словах, высказывается и Ольга Липовская («переводчица, организаторка семинаров Ф-письмо»):

---

<sup>1</sup> <https://syg.ma/@mariia-bikbulatova/f-pismo-otkazyvaietsia-ot-premii-bielogho>

«...Для меня весь этот конструкт: облеченные правом присуждатели — подверженные присуждению — уровни гениальности (кто и как их определяет?), все это — предельно субъективные категории, и их относительность резко снижает (для меня) значимость этой премии».

Прочел я это не без удивления. В текстах, связанных с деятельностью Премии Белого, «гений» обычно не звучало: ни в положении о премии, ни в произносимых при вручении речах.

Что до Беньямина, то читал его не так много, так что поправьте, если ошибаюсь. Но я в упор не помню (и сейчас не смог найти), где это он пишет о «фашизме языка». Термин этот вообще более поздний, «послевоенный». А частью расхожего гуманитарного словаря стал только в девяностые.

Но не только термина, но и мысли такой у Беньямина я не отыскал. Возможно, Бекбулатова имеет в виду фразу из его самой известной статьи «Произведение искусства в эпоху его технической воспроизведимости» (1936). Там это звучит похоже, однако...

Впрочем, лучше процитирую. Беньямин пишет, что тезисы его статьи «...отбрасывают ряд унаследованных понятий — таких как творчество и гениальность, вечная ценность и таинство, — неконтролируемое использование которых (а в настоящее время сложно что-то контролировать) ведет к интерпретации имеющегося материала в фашистском духе».

Итак, понятие гения — «унаследованное» (*überkommener*); пусть даже — «устаревшее»<sup>1</sup>. Но ничего *фашистского* в нем у Беньямина нет; сам Беньямин, кстати, в других местах понятие гения активно использовал. Лишь его «неконтролируемое использование» (*unkontrollierte Anwendung*) может привести к интерпретации эстетического материала в фашистском духе.

Да и под фашизмом в статье подразумевается нечто иное, чем то, о чем пишет Бекбулатова... Не идея неравенства, а подмена вопроса о ликвидации имущественного неравенства — возможностью «самовыражения» для масс.

Что же — если убрать, похоже, напрасно потревоженную тень Беньямина — остается в сухом остатке? Да, именно раздражение по поводу «эссенциалистского (врожденного. — Е.А.) превосходства одних людей над другими» в искусстве. Такое сильное, что «философия» объявляет его даже «фашистским в своем основании».

Хотя — что тут, собственно говоря, фашистского-то?

Люди рождаются с разными талантами, с разной степенью одаренности... И в литературе — простите за прописные истины — тоже. Есть авторы более одаренные, яркие, и менее одаренные. А порой, да, и бездарные. Последние тоже, как правило, обладают талантами, но в каких-то других областях, где они не смогли либо не захотели реализоваться.

Но именно эта иерархичность литературы и вызывает идиосинкразию у участниц «Ф-письма». Точнее, их собственное положение в этой иерархии. Отсюда и эта странноватая филиппика в адрес «гения» и «уровней гениальности»... О которой можно было бы благополучно забыть, если бы совсем недавно, 26 ноября, почти через год после тех премиальных страстей, на понятие гения не обрушилась в своем ФБ Анна Голубкова.

Приведу ее пост полностью.

«Для начала XIX века с его распадающимся сословным обществом романтическая идея вдохновенного поэта/художника/творца (=мужчина), который выламывается из обыденной реальности и противостоит всем обывателям, была безусловно

<sup>1</sup> Как это переведено С.Ромашко, на чей перевод обычно ссылаются. (Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизведимости. — М.: Медиум, 1996. С. 16).

прогрессивной. Она позволила создать ту новую европейскую литературу, которой мы до сих пор зачитываемся. Но двести лет спустя эта же идея, конечно, стала консервативной. И не потому, что прошло уже два века, а потому что мы живем, извините, не во времена начала технической революции, а в постиндустриальном мире, где идет активное нивелирование каких бы то ни было различий. И в этом современном экологичном контексте фигура исключительной творческой личности, значительно превосходящей всех остальных своими способностями и потому имеющей право на привилегии, в том числе и право на насилие (а так как романтический творец = мужчина, то это именно мужское насилие), кажется довольно-таки архаичной. И после этого вы хотите сказать, что в подобной позиции нет совершенно определенного политического жеста?»

Само понятие «гений» Голубкова не использует (и на этом спасибо), но логика та же. Снова о способностях, об этих несносных способностях...

«Фигура исключительной творческой личности, значительно превосходящей всех остальных своими способностями» (Голубкова). «Привилегированная фигура, которая наделена своего рода божественным даром, способностью расслышать и зафиксировать что-то важное» (Бекбулатова).

И «преференции», якобы проистекающие из этого. Разве что Бекбулатова пишет о праве «нарушать границы, которые не позволено нарушать остальным», а Голубкова — прямо-таки о «праве на насилие». С уточнением для непонятливых: «именно мужское насилие».

И снова ломаешь голову: кто же адресат этих обличений?

Или, как написал в своем ФБ Валерий Шубинский: «Какая такая концепция давала творческой личности право на насилие? Не упомню».

И я не упомню.

Напротив, с момента появления идеи гения (а это не «начало XIX века», а на треть века раньше, как минимум где-то с «Философского словаря» Вольтера) почти общим местом стало *отрицание* за ним права не то что на насилие, но и вообще на какой-либо имморализм.

«Не могу поверить, что преступление и гений могут быть совместимы» (А.-М.Лемье, «Живопись», 1769). «Дурной человек не может быть хорошим автором» (Н.Карамзин, «Что нужно автору?», 1794). «Кто пленяется изящным, тот уже не может быть злодеем» (Ф.Глинка, «Письма русского офицера...», 1816). «Что такой гений без доброго сердца?» (Д.Хвостов, «Записки о словесности», 1829).

Не говоря уже о почти хрестоматийной фразе из «Моцарта и Сальери»...

Предромантизму и романтизму можно скорее предъявить претензию в слишком высоких этических требованиях, которые предъявлялись к гению. В результате секуляризации на гения переносились свойства пророка и даже святого.

Реальность, разумеется, от этого идеала отличалась. Но «романтическая идея вдохновенного поэта» менее всего в этом повинна. Поведение *gens de lettres* всегда «нарушало границы» — независимо от пола, степени одаренности и исторической эпохи. И Сафо, и Овидий, и Вийон, и Нинон де Ланкло — все они «трансгрессировали» задолго до романтизма. Да и в период романтизма поведение не только пишущих мужчин, но и женщин часто входило в противоречие с общественной моралью — вспомним Евдокию Ростопчину или Каролину Павлову...

Но достаточно историко-литературных выкладок — не для «Вопросов литературы» сейчас пишу. Главное — к истории литературы и эстетики все эти вольные фантазии про «фашизм гениальности» и право гения-мужчины на насилие не имеют отношения. Как и к современности — повторюсь, понятия гения, «исключительной творческой личности» уже давно выпало из актуального литературного словаря. Это, скорее, мифологема, на которую, вероятно, удобно проецировать собственные фобии. Отчасти — мезандрические: гений как ипостась такого «Мужчины Мужчиныча»,

злобно помахивающего дубиной (или не знаю чем). Отчасти — да, ресентимент в отношении литературной иерархии, которая пока еще продолжает выстраиваться исходя из уровня дарований. А не из героической общественной позиции, как, судя по всему, хотелось бы нашим «авторкам».

Кстати, насчет позиции. В недавней статье под скромным названием «Какой должна быть современная поэзия» Голубкова — почему-то решив, что меня «раздражает феминистская поэзия», — зачислила меня в носители «патриархального сознания» («Литература», 2021, № 181).

Феминистская поэзия меня не раздражает. Если написано талантливо, то даже наоборот. Мне уже приходилось вполне комплиментарно писать и об Оксане Васякиной, и об Егане Джаббаровой, а стихи Любы Макаревской с удовольствием опубликовал в сборнике «Кровь-любовь. Современные поэты о любви» («Эксмо», 2019). Джаббарова и Макаревская, кстати, часто публикуются на «Ф-письме».

Другое дело, что в основной части текстов на этом сайте, может, «феминистской логики письма» и много, но что касается поэзии... Хорошо бы, конечно, подкрепить это сомнение цитатами<sup>1</sup>. Но, простите, и так уже переливаюсь за край отпущенного рубрике объема. Так что как-нибудь в следующий раз, если повод будет.

Но, главное, сомнение вызывает не само «Ф-письмо» и не качество текстов (вон сколько всего пишется-публикуется), а претензия на разрушение иерархии, построенной на художественных достоинствах. И замена ее на ту, в которой прежде всего будет учитываться «правильный» «политический жест».

Все это, разумеется, не снижает значимости вопросов, которые ставит феминистское движение. И домашнее насилие, и гендерное неравенство — все это требует обсуждения, осмысления, решения<sup>2</sup>.

Проблема не в феминизме; проблема в том, насколько возможно его «скрестить» с литературой. И не только феминизм — любую идеологию. Слабое стихотворение, блистай оно хоть всеми звездами феминизма, сильнее не станет. Мы это уже проезжали. И с пролетарской поэзией, и с антиколониальной, и с религиозной...

Что до «гения», то понятие, действительно, изрядно затасканное, обветшавшее. Но идея, просвечивающая за его романтической шелухой, пока сохраняет актуальность. Отражает разную степень одаренности, не зависящую ни от какого «нивелирования различий». Возрождать это понятие не стоит; полностью отбрасывать — еще меньше. Пусть пока побудет «под паром».

<sup>1</sup> В том числе, может, и из «Маленькой поэмы об идентичности» Голубковой, опубликовавшейся на «Ф-письме».

<sup>2</sup> В чем посильно старался участвовать (тут вынужден сказать пару слов *pro domo suo* — раз уж зашла речь о моем «патриархальном сознании»). По крайней мере, с 1990 года, когда отреферировал для ИНИОНа книгу Джейн Коннорс «Насилие против женщин в семье» («Violence against women in the family», 1989). Или позже, когда был одним из авторов первого доклада Узбекистана по выполнению ООНовской конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин. Или уже в середине 2000-х, когда, работая в представительстве ООН в Узбекистане, курировал несколько гендерных проектов и выпустил исследование по гендерным аспектам трудовой миграции. Да и после, окончательно уйдя в свободное литературное плавание, эти проблемы не забывал.

## Правила игры

*Борис Минаев*

# Пробиваясь как в туман

Когда идешь на пятичасовой спектакль, думаешь сразу о многом. Во-первых: а когда кончается, сколько антрактов, а успеешь ли подкрепиться? Хватит ли вообще сил: и душевых, и физических? Способен ли обычный человек выдержать такое (ты же обычный)? Ну и, во-вторых, возникают сомнения: а зачем все-таки пять часов? Какой в этом смысл — так мучить бедного зрителя? Зачем я вообще иду на такое?

Замечу попутно, что я, хоть и обычный, но в этом смысле — зритель подготовленный. Были в моей жизни додинские «Бесы», которые начинались практически утром, а кончались поздно вечером, «Липсинг» Робера Лепажа, который тоже шел около пяти часов, «Берег утопии» режиссера Бородина по трилогии Томаса Стоппарда в РАМТе (поставленной в один день с большими перерывами), «Вишнёвый сад» Некрошиюса, который шел четыре с половиной, «Улисс» Евгения Каменьковича в Мастерской Петра Фоменко.

Надо сказать, что, если, конечно, спектакль не разваливается на глазах, — эти пять часов и два антракта, как ни странно, мобилизуют зрителя, заставляют его сконцентрироваться и собраться. Я бы даже сказал, у зрителя появляется его личная, зрительская самоотдача: раз я такое могу, значит, и спектакль того стоит. В голове немного шумит, но аплодисменты, как правило, бурные.

Больше того, пять сценических часов — опыт подсказывает — это «падение в точку», а не режиссерская графомания: если режиссер настолько рискует, значит, он точно знает, ради чего.

И вот это главный вопрос: ради чего?

«Война и мир» Римаса Туминаса в театре Вахтангова и «Доктор Живаго» Евгения Каменьковича в Мастерской Петра Фоменко — не просто два пятичасовых спектакля, и не просто две сценические версии самых известных в мире русских романов, и не просто две попытки перенести на сцену сложнейший язык прозы — с бесконечным количеством персонажей, сюжетов, с протяженностью во времени и пространстве, с их, наконец, абсолютно легендарной судьбой в русской культуре.

Оба спектакля роднят и вот этот мучащий тебя вопрос: почему сейчас? Почему именно *это* так нужно сейчас?

Первый слой ответов — достаточно близко, ну, не скажу, что на поверхности лежит, но витает в воздухе: нужна опора. Нам. Всем. Нужна. Опора. Именно сейчас, именно в эти дни, месяцы, годы: невозможно, даже если очень хочется, целиком завернуться в комфортное цифровое бытие, запереться в своем личном мире и не видеть распада, который творится вокруг. Распада человеческих связей (умирают люди, часто, много, свои и чужие, близкие и далекие, привыкание к смерти — это и есть распад души), распада общества (то, что одних воодушевляет или просто кажется нормальным, других повергает в ужас — разговор становится невозможен, общие ценности исчезают, а еще вчера мы с этими людьми выпивали, дружили домами и были из «одного класса»); распадаются и сами ценности, и сами кодексы — этические ли, социальные, все как-то относительно и все может куда-то сгинуть и запропаститься (хороший пример: еще вчера тема сталинских репрессий была самоочевидной,

безусловной, сегодня — уже нет). Мучит угроза войны, мучит несправедливость судов, многое мучит — и нужна опора. Нужно зримое, очевидное доказательство того, что, хотя страна и запуталась, запутала на рубежах истории, — есть в ней и огромная внутренняя сила, и компас культурной традиции. А значит, есть и свет в окошке, надежда на преодоление.

То, как общественное сознание «вытаскивает на поверхность» свои глубокие внутренние импульсы, как бурно реагирует на, казалось бы, обычный факт «новой инсценировки» или «новой экранизации», можно прочитать в статье Льва Аннинского из книги «Охота на Льва» — о взаимоотношениях Толстого с кинематографом. (Тоже уже книжки классической, хотя не Толстой и не Пастернак.)

Приведу несколько фраз оттуда:

«И все же какая-то загадка тут есть. Почему именно “Война и мир”?.. А вот, пожалуйста: сто лет назад описаны тогдашние дедушки да бабушки в годы их молодости, князья и княгини, и баталия с Буонапартием, и графинечка на балу, а потом, поверх — десять поколений, и пять царств, и три революции, и прахом все старое — отрезано, отчеркнуто, отброшено — однако под стальным небом двадцатого века, под спутниками, под стеклянными стенами кинотеатра «Россия» кричат в толпе: — Графинечка на балу не в тех туфлях была! — У нее глаза были темные! — А на охоту она, по роману, на вороном Арабчике ехала, а не на этом белом мерине!

Что-то задел в нас Бондарчук, что-то главное задел: ведь это не кисло-сладкие мнения о проходной экранизации классики: так *о себе* кричат».

...Поясню только про «толпу» — что за толпа, где кричат: это за билетами стояли, и об этом тоже писал Аннинский в той своей давней книжке, за билетами в огромный зал кинотеатра «Россия» на тысячу мест, стояли ночами, и — все-таки на всех билетов не хватало.

Так в шестидесятые проявлялась, поверх всего советского опыта, потребность в исторической России, потребность общества в новой, не советской идентичности — очень точно все это описал тогда мой учитель Лев Аннинский.

Сегодня этих очередей нет — когда сидят ночами возле касс в сквере (если погода позволяет), записываются в тетрадку, шариковой ручкой пишут номер на ладони — но все же купить билеты на туминсовскую «Войну и мир» невозможно, все продано на полгода вперед, причем билеты стоят серьезных денег, не те полтора рубля за две серии, какие платил демократический советский зритель в 1960-е...

Так в чем же дело? О чём «кричат» сейчас зрители, эти уже вполне буржуазные, тихие, сосредоточенные зрители, выходя после пятичасового спектакля в полпервого ночи на пустой Арбат? О «себе» — каких?

Вектор — на мой взгляд — со времен той статьи и той премьеры изменился на прямо противоположный. Зритель бондарчуковской версии «Войны и мира» (середина 1960-х) жаждал деталей, любовно осматривал «эти погасшие интерьеры, эти споры о смысле жизни, и красоту старых храмов, и перезвон колоколов, и красоту стаи гончих, летящих за волком по замерзшей траве», как писал Аннинский, то есть тот зритель с помощью фильма пытался реанимировать порушенное прошлое, оживить его, слиться с ним, этим сладким реабилитированным прошлым; зритель нынешней версии, театральной, находит в «Войне и мире» свое будущее: будущее больших и грозных перемен, которые грядут уже почти обязательно. Почти непременно, если не случится чуда.

Эта тема в спектакле центральная: все «человеческое», вся эта хрупкая материя семьи, любви, «наследников» и «отцов», ревность и страсть, обыденная глупость жизни и не находящий себе применения в мире ум, юношеская гордыня и родительское ослепление, — все это как будто трескается, покрывается мелкими трещинами, как огромный хрустальный шар, чтобы на наших глазах рассыпаться при встрече с этим потоком истории, с грозным будущим.

У Толстого это будущее и этот поток истории имеют ясные и точные формы: война, конкретная война с конкретным Наполеоном, вместе с тем — из того, что мы

видим на сцене, — получается, что это столкновение со страшным и великим будущим на самом-то деле все равно было или будет неизбежно, общество «устало», человеческий материал слишком размяк, ослаб, погряз во внутренней пустоте — и «эпоха перемен» обязана врезаться в него со всей своей силой.

Зритель, читавший Толстого, прекрасно понимает, что «слова» произносятся тут все те же, никто ничего не менял, не «искажал», но у режиссера Туминаса есть свои способы усилить их звучание, «поднять» тему: и старая графиня (актриса Л.Максакова), которая посыпает «своих людей» поджечь Москву, расхаживающая по сцене с канистрой из-под бензина, нынешней, грязной, современной канистрой с бензоколонки, и Николенька Ростов (актер Ю.Цокуров), скачущий на игрушечной лошадке и машущий сабелькой, страстно мечтающий о войне, жаждущий ее, — застrevают в памяти надолго.

Это вообще главная режиссерская специализация Туминаса — создание таких визуальных образов, от которых невозможно отвязаться, как от приставучей мелодии, которая крутится и крутится в голове. Невозможно «отвязаться» от сцены, где семейство Ростовых возвращается с бала: эта пьяная походка графа Ростова (актер А.Ильин), эти усталые люди, бредущие из огромного «танцевального зала» своей жизни — куда-то в неизвестность, под печальную и щемящую мелодию. Невозможно избавиться от образа смерти: когда раскладывают на сцене мятые грязные шинели — и так мягко и так подробно раскладывают, что шинели эти тотчас становятся убитыми солдатами.

Но войнавойной, а смысл заданного вопроса лишь усиливается: ведь получается, общество заслужило эту войну, этот кошмар, это разорение и катастрофу?

В этих терминах о войне 1812 года никто не думал (например, тогда, в середине 1960-х, когда вышла бондарчуковская «Война и мир»), она всегда вроде бы была важна как поиск национальной идентичности, как красивая, романтичная, «благородная» история, а вот сегодня ужас *полного разворота*, который придавливает и коверкает человека, преступил в спектакле Туминаса очень ясно. Этот «полный разворот», ощущение грозных будущих перемен — для сегодняшнего человека — все же не совсем про войну. Скорее — общее ощущение, дыхание мировых сдвигов, мировых событий.

Для меня, конечно, «Доктор Живаго» Каменьковича (напомню, в Мастерской Петра Фоменко) в этом смысле стал как бы «второй частью», «окончанием», смысловой связкой того, что заложено в «Войне и мире» Туминаса.

На вахтанговской сцене показали, как разгорается костер, как задувает исторический ветер, на фоменковской — костер уже сжигает все дотла, постепенно превращая в золу, ветер становится ураганом, сметая на своем пути все: и людей, и жилища, и даже природу, — и в конце его люди ходят среди обломков, пытаясь найти хоть что-то, хоть какие-то следы своей прошлой жизни.

Каменькович — другой режиссер и идет другим путем, в его постановке нет «символизма», визуальных «обобщений», все очень конкретно, ясно, просто, подробно, понятно, чтобы сложилась именно общая картина, для расшифровки которой уже не нужно ключей: каждый характер изучен и показан до деталей, все отношения построены с математической точностью, каждый диалог движет сценическое время вперед, каждая секунда действия для чего-то нужна.

Вообще перенести на сцену огромный сложный роман — задача почти непосильная, недаром Туминсу так необходимы эти замедленные «танцы» персонажей, то есть некая символическая хореография на сцене, чтобы передать само движение толстовской строки, а Каменьковичу требуется постоянно напоминать зрителю через световое табло — где, когда это происходит, наращивая напряжение, убыстряя темп, чтобы выразить нервность строки пастернаковской. Непосильная задача, да, но все же решаемая успешно, даже не только благодаря самому театру, а благодаря тому, что изначально соответствует зрительскому глубинному ожиданию, тем смыслам, которые мы вчитываем и «всматриваем» в эти сцены. Да, нам нужна опора, повторюсь, нам нужно на чем-то стоять сегодня!

Вновь вернулся ко Льву Аннинскому: недаром в свое замечательное перечисление образов Бондарчука, между «красотой старых храмов» и «красотой стаи гончих», он вставил неожиданное — «споры о смысле жизни». Да, и в том, и в другом спектакле — эти «споры о смысле жизни» занимают огромное, просто значительнейшее место, несмотря на всю плотность событий и нескончаемую череду лиц и положений. Споры, собственно, о чем? Мы можем выделить из них главное — это, конечно же, в первую очередь споры о «вине интеллигентии» (или дворянского класса у Толстого), о ее «вине перед народом», о ее «ответственности за происходящее» (то есть — за войну и с «врагом», и за войну гражданскую, и за революцию в целом).

...Я всегда не любил и почти ненавидел эту тему. Да, те люди ждали перемен (я сейчас говорю в большей степени о поколении, описанном в «Докторе Живаго»), те люди хотели изменений окружающей жизни к лучшему, хотели ослабления тисков внутренней и внешней цензуры, обретения другой степени свободы, люди хотели помогать обществу, помогать *другим* путем этих перемен — за что же они (и все остальные) получили тот ужас войны и революции, за что их жизни должны были быть растроптаны и сожжены, неужели, как считали и считают многие, «по заслугам»?

Нет, конечно. Мародеры истории присвоили себе плоды революции, украли завоеванную свободу, связали и вновь бросили ее в тюрьму, но ни общество, ни интеллигенция тут ни при чем. Они не повинны в этом. Так я всегда считал — впрочем, пространство обоих романов оставляет массу возможностей обсудить все эти вещи, уже без участия посторонних: только вы и Толстой, вы и Пастернак. А театр очень сильно в этом помогает: он вместе с нами «читает» роман и ярко высвечивает главные страницы.

У Туминаса есть прекрасное место в «Войне и мире» (может быть, лучшее): когда Ростовы бегут из Москвы и в последний момент, после отчаянного крика Наташи, сломавшего сопротивление графини, сбрасывают свое «имущество», «ценные вещи» с подвод, освобождая их для раненых солдат.

Здесь и Толстой, и Туминас дают нам надежду — нет, не все потеряно в этом обществе, не все растрячено, не все пущено на ветер, есть в нем и совесть, и благородство, нужно только, чтобы *ситуация сложилась*.

Но неужели это должна быть война или революция, спрашиваю я себя, выходя из театрального зала? Господи...

Ну и еще одна заслуживающая особого внимания тема: мне кажется, с этих спектаклей начинается какой-то важный «поворотный момент» в истории нашего театра. И Туминас, и Каменькович одновременно поняли, что в этих огромных работах невозможно иметь дело лишь с «раскрученными» актерами, звездами, на которых пойдет зритель. С привычными схемами восприятия современного театра. И в «Войне и мире», и в «Докторе Живаго» никакие 30-летние женщины — которые, вне всякого сомнения, вполне могли бы по своим внешним данным, — не играют 16-летних девочек. И окружают и Наташу Ростову (актриса Ольга Лерман), и Лару Антипову (актриса Ольга Бодрова) — такие же вчерашние дебютантки и дебютантки. Особенно я бы отметил прекрасного Ивана Вакуленко в роли Юрия Живаго. Конечно, особенно ярко игра молодых смотрится на контрасте с большими мастерами, с актерами в самой золотой своей поре. В «Войне и мире» это вообще целое созвездие: Андрей Ильин, Ирина Купченко, Евгений Князев, Ольга Тумайкина, — я называю лишь тот состав, который видел сам, на других спектаклях вы насладитесь игрой Сергея Маковецкого, Евгении Ивашовой, Виктора Сухорукова. В «Докторе Живаго» — потрясающие Карэн Бадалов, Полина Кутепова, Владимир Свирский. И да, на этом контрасте — получается нечто великое, значительное. Но дело не только в «возрастном подходе» — сами спектакли внутренне молоды. Они о главном, и главные задачи в них отданы молодым.

Новое поколение должно прийти нам на смену — и сделать что-то главное в этой стране.

Вроде мысль простая, но к ней все-таки надо еще привыкнуть. Пока еще не привыкли.

## Культурная хроника

*Язгуль Тиркишова*

# Парадоксы аутентичности

Решила как-то хозяйка отвести на базар козу и продать ее. А та, видно, поняла всю пагубность этой перспективы и уперлась так, что с места не сдвинуть. Но откуда ж бедному животному знать, что женское упрямство — веять еще более непреодолимая. Так и зафиксировал двух столь схожих характерами существ в момент их бескомпромиссного противостояния цепкий взгляд живописца...

Художника Аннагельды Меретгельдыева, живущего и работающего в туркменском городе Мары, можно было бы сравнить с пытливым фотографом, черпающим вдохновение из сюжетов каждодневной жизни. Можно было бы... Но с фотографом его роднит только пристальность взгляда на окружающий мир. Ни о каком фотографическом отражении действительности тут не идет и речи. Вот, к примеру, автор делает попытку запечатлеть уличную сценку. Возникают очертания фигур и лиц, фрагменты декоративной отделки национальной одежды. Казалось бы, все находится в пределах реального восприятия традиционной национальной аутентичности...

Но дальше начинаются чудеса. Художник словно берет за руку и увлекает в чертоги своих фантазий и образов. И вот ты уже не на знакомой сельской улице, а в бездонных глубинах космоса, где ведут вечный бой добро и зло, где не стихают жаркие философские споры, а Царица-Любовь готова прикрыть мир от невзгод своим защитным покрывалом. Автор сознательно и демонстративно использует ограниченный арсенал выразительных средств, как бы подтверждая, что все гениальное должно быть простым. Самой парадоксальной в творческом методе автора остается способность оставаться глубоко аутентичным, но при этом легко вырастать из размеров национальной самоидентичности до масштабов глобальных человеческих ценностей.

Художник Аннагельды Меретгельдыев — один из ярких представителей изобразительного искусства современного Туркменистана. Он родился в селе Гызылгум Марыйского оазиса в 1956 году. Природа родных мест с бескрайним простором пустыни, синевой неба, чистой желтизной песка, с цветными пятнами растительности и белыми бледцами солончаков обладает особой красотой и притягательной силой. «Ни в одной другой стране ты не найдешь пустыни, которая мгновенно вытянет из тебя любую боль, не услышишь дождь, сливающийся со звуками туркменской мелодии», — говорил ему отец.

Детство стало для художника миром, где между мечтой и реальностью не существует границ, миром безграничной любви и непосредственности. Тогда движение крыльев нечаянно встреченной бабочки казалось чудом, ненароком сбитый ногой одуванчик превращался в волшебный цветок. Он рисовал всегда, сколько себя помнит. А еще лепил из пластилина. На подоконнике в его комнате была собственная пластилиновая Вселенная! В юношеском возрасте на учебу в столицу он ехал с горячим желанием постичь законы прекрасного, усвоить навыки, необходимые для образного отражения истинной красоты природы и человека.

Есть такие люди, которые навсегда остаются в нашем сердце. Их облик, их слова, сказанные когда-то, заставляют снова и снова возвращаться к их образам. Таким для Аннагельды стал его наставник — классик национальной живописи, народный художник Туркменистана Дурды Байрамов, картины которого в их философском осмыслиении течения времени восхищают

---

*Язгуль Тиркишова — искусствовед, заместитель директора Историко-краеведческого музея Марийской области (Туркменистан).*

совершенством стиля, цельностью и новизной колористической гаммы, поразительной чуткостью, с которой всматривался живописец в повседневную жизнь, улавливая поэзию в самых привычных вещах. Он — автор уникальной в туркменском изобразительном искусстве галереи образов современников, включающей в себя более 150 портретов представителей туркменской интеллигенции конца XX — начала XXI века.

Живопись Дурды Байрамова дала молодому художнику понимание потаенных законов красоты. «Когда рисуешь картину, недостаточно добиться внешнего сходства, необходимо стремиться раскрыть интонации настроения, характер и богатство внутреннего мира человека», — говорил наставник. В сердце Аннагельды на всю жизнь поселилась бесконечная благодарность своему Учителю, который научил его не только профессии, но и добруму отношению к жизни.

После окончания Туркменского государственного художественного училища в Ашхабаде Аннагельды несколько лет работал с Дурды Байрамовым, развивая свои навыки, полученные во время учебы. В 1983 году художник вернулся в Мары и сразу попал в творческий круг таких известных мастеров, как Гурбангельды Гурбанов, Аллаберды Амангельдыев, Коссекмурад Нурмурадов, Ата Акыев, Аннадурды Мурадалиев, Чары Хуммедов. Его вдохновлял опыт старших товарищей. Аннагельды участвовал в многочисленных выставках в Туркменистане и за его пределами. С 2013 года он и сам занимается педагогической деятельностью — преподает в детской художественной школе, обучая подростков таинствам изобразительного искусства.

В работах Аннагельды Меретгельдыева ярко проявилось чувство глубокой привязанности к туркменской земле, к ее обычаям и традициям. Художника волнуют женские образы, привлекает в них внутренняя чистота и душевная деликатность, они отмечены не только своеобразным восточным колоритом, но и удивительной экспрессией. Аннагельды развил присущую ему способность к живописному выражению чувств до всеобъемлющей полноты и завораживающей наглядной очевидности.

Как композиторы сочиняют музыку, проигрывая ее на «немом» пианино, так и художник вначале рисует картину в собственном воображении. Даже работая на пленэре, он не копирует, а выбирает то, что созвучно его раздумьям, его эмоциональному состоянию. Это особое видение мира, живописная метафора, в которой огромное значение имеет поэтизация образов и любовь к жизни.

В работах, иллюстрирующих сельский быт, живописец достигает пластической раскрепощенности и особой свободы самовыражения, а условность изобразительной манеры, привносящая в живопись настроение наивной сказочности, подчеркивает уникальность того, о чем хочет рассказать автор. Тонкий и добрый юмор, фантастическое смешение различных пластических элементов и колористическая свобода, граничащая с цветовой вакханалией, вводят нас в мир ярких и сакрально чистых образов.

Несмотря на то, что цветовой диапазон каждый раз многообразен, декоративность в работах художника играет вспомогательную роль и выступает в органичном единстве с художественным содержанием и образным строем. Цветовые пятна и фактурность мазков создают объем и пространство, где из минималистического набора предметов строятся неповторимые художественные сюжеты.

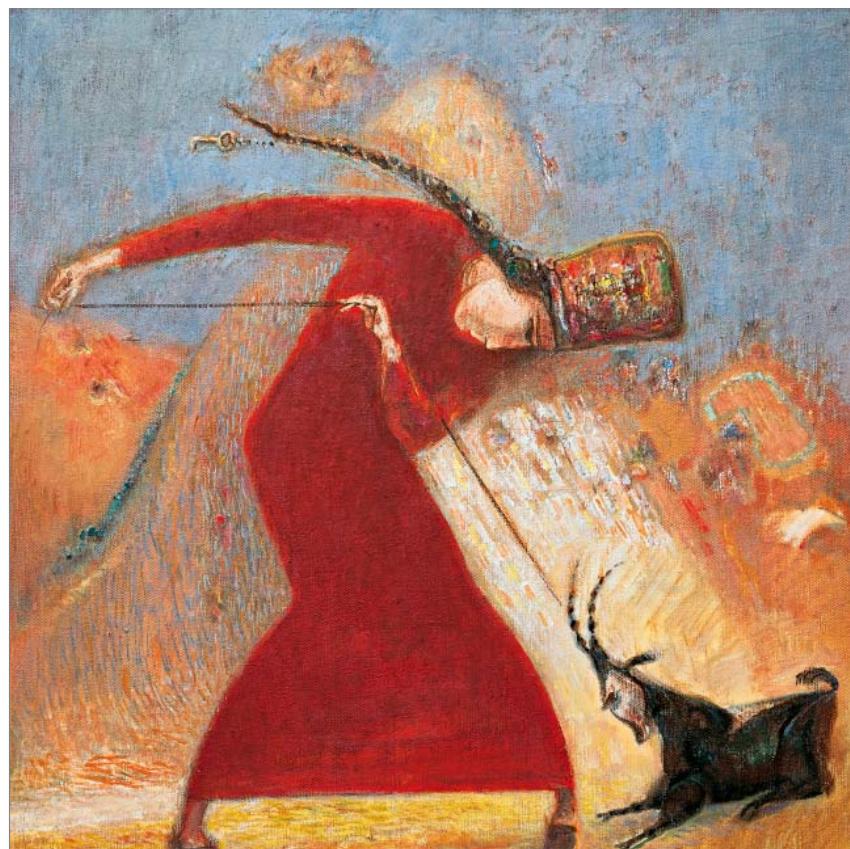
Туркмены в своей многовековой истории сумели сохранить чистоту языка, звучание музыки, самобытность народных праздников. За всем этим стоит выразившаяся в своей самодостаточной красоте национальная гордость. Нация, как и человек, имеет плоть, сердце и разум. Ее плоть — национальная культура, ее сердце — язык и музыка, ее разум — сознание и философия народа. Все эти понятия тесно переплетены в творчестве Аннагельды Меретгельдыева.

Если ранние работы были более сдержанными по цветовому звучанию, то нынешние произведения поражают своим живописным многоголосием. То же самое касается композиционных схем, которые разрастаются, множась, как бесконечные узоры в калейдоскопе. Сегодня произведения художника отличаются более смелыми экспериментами, использованием аллегорий и проработкой индивидуального ассоциативного ряда.

Аннагельды Меретгельдыев делает мир ярче и красочнее, зажигает солнечные искры в душах людей. Наступит новый день, и художник, выйдя на улицы родного Мары, как песню ветра, уловит сюжет для своего будущего рассказа, где первом послужит кисть, а словами — краски, передающие настроение цвета жизни, любви, душевной гармонии. Той, которую обретают персонажи его прекрасных картин.

---

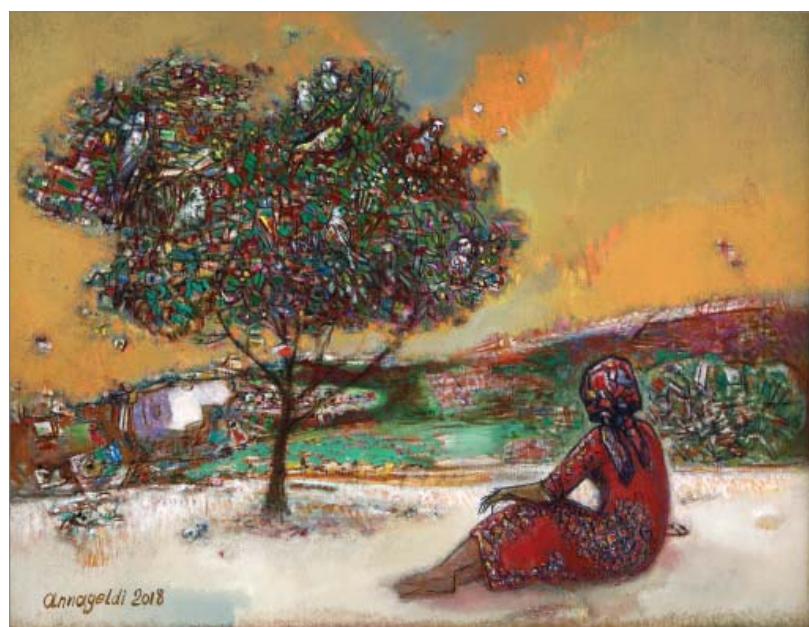
**ХУДОЖНИК АННАГЕЛЬДЫ МЕРЕТГЕЛЬДЫЕВ**



На базар



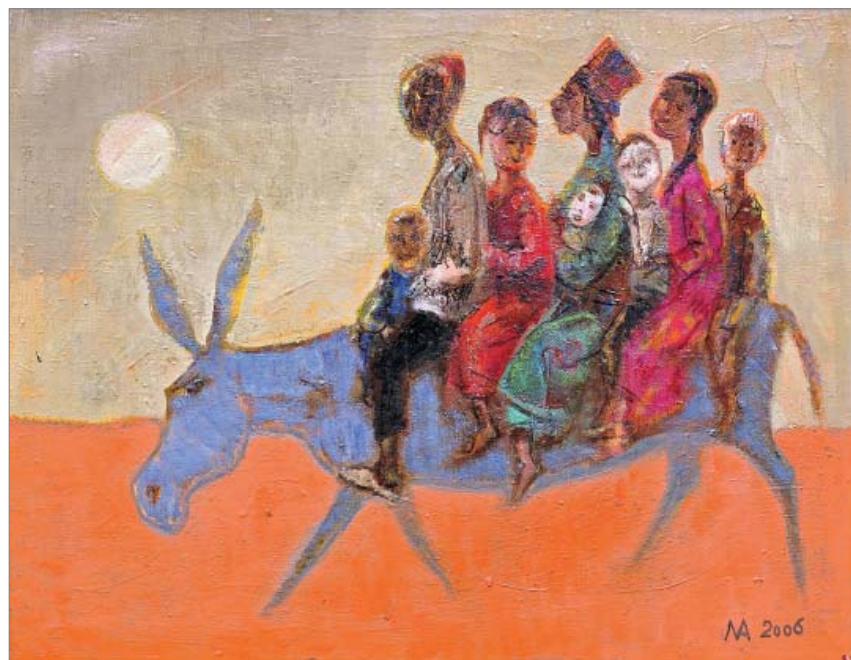
Прогулка



На закате



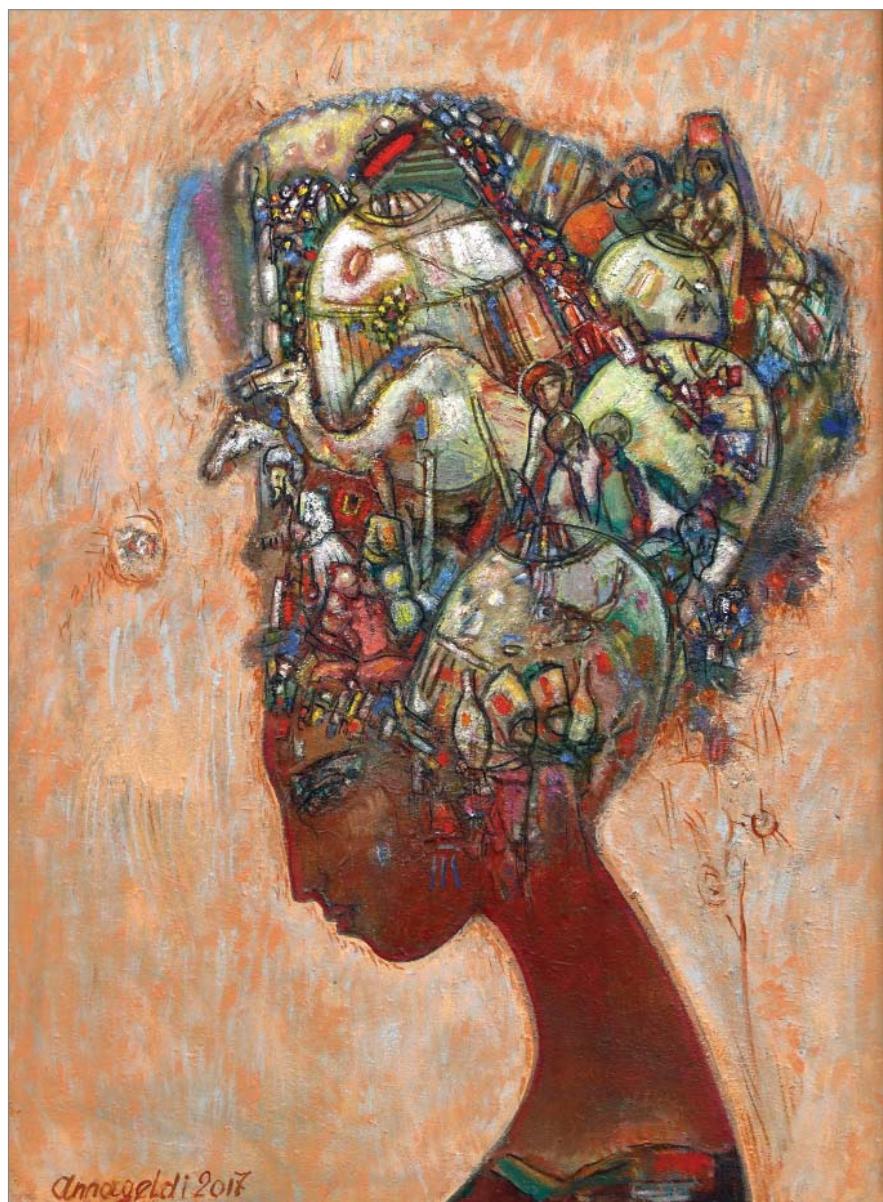
Возвращение



Семья на ослике



Каракумская сказка



Женские заботы



Вечер



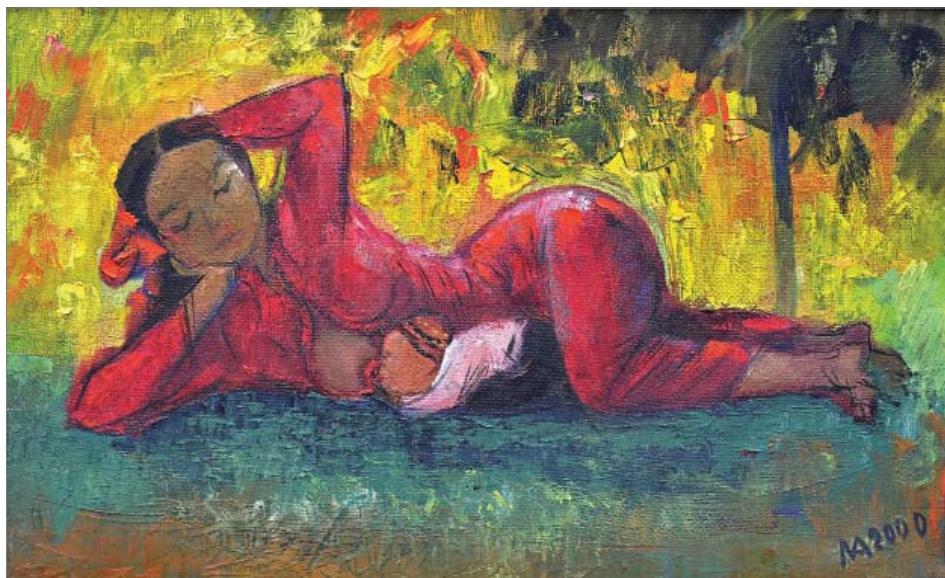
Базарный день



Сельские невесты



Хозяюшки



Полдень



Мой аул

# *Summary*

## Vladislav Gorodetskij. A Man from Kemerovo

This long short story is a saga about the voyage of a provincial from Kemerovo to the undercover life of Petersburg of the 90-s full of street phantasmagoria: burry miliciamen-werewolves, illusionists, musicians, professional beggars, market vendors, city madmen babbling Latin... “Things taking place in this city Danila still could accept, could believe with some doubts in this mocking surrealism; but now the last serviceable gears brought from the former life stopped, broke and fell down the abyss of horror”.

## Vladimir Gendelman. Out of the Top of the Head. A piece from the novel

It's a group portrait of the generation of the 1970-s and later at the background of Leningrad-Petersburg. Vivid, dense prose of the poet is saturated with philosophical meditations on writers' lives and friendships.

## Poetry

Searching and comprehension of oneself, one's place in this life and the life itself is one of the imperishable topics of poetry. The poet is “like the word put in the time's mouth”, — says Felix Chechik. “How much of the past”, — laments Sergej Paguin. Suffering bitterness of the loss Oleg Khlebnikov “began to have dreams about how he had come to the edge”. The debutant of “DN” Anna Dolgareva consoles ingenuously: “Where it hurts apply the plantain”.

## Alexander Djumayev. From the Epoch of the “Last Times”. Fragments of the diary

“These notes were emerging spontaneously... But they reflect the time rather precisely. After all the time itself was then torn into pieces,” — so culturologist Alexander Djumayev living in Tashkent introduces the fragments of his diary notes on the “last times” — the times when “the fundamental mainstays of human community, the principles of harmony are collapsing both in the life itself and in the inner world of a person”.

## Natalya Igrunova, Alexander Chantsev, Olga Balla. The Viral World

“It's too tempting but impossible to live in the past. Moreover it's supertragedical — to know what everything will end up with. To live in the future also is unreal: the last two years have shown that the future really isn't there since it still can bring surprises and be unpredictable. That's why it remains for us to live in the actual books on the future...”

## УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Журнал «Дружба народов»

МОЖНО ВЫПИСЫВАТЬ С ЛЮБОГО МЕСЯЦА ВО ВСЕХ ОТДЕЛЕНИЯХ ПОЧТЫ РОССИИ.

Подписной индекс в каталоге «ГАЗЕТЫ. ЖУРНАЛЫ» — **70250**

Подписной индекс в зеленом каталоге «ПРЕССА РОССИИ» — **91826**

Электронную версию «ДН» можно купить на <http://дружбанародов.ком>

Журнал продается в московских магазинах:

«Фаланстер» (Москва, ул. Тверская, 17, вход с Малого Гнездниковского переулка)

«Бункер» (Покровка, 17; ежедневно с 12 до 22)

Также журнал можно приобрести через интернет-магазин **Лабиринт.ру**  
в любом городе страны.

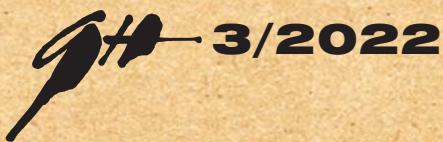
*Вёрстка: Елена ЖИРНОВА*

*Корректура: Елена ЛАПШИНА*

*Дизайн обложки: Степан ЛУКЬЯНОВ*



ИЗДАНИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНО ПРИ ПОДДЕРЖКЕ  
МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО ФОНДА ГУМАНИТАРНОГО  
СОТРУДНИЧЕСТВА ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ СНГ  
И ФОНДА «РУССКИЙ МИР»



## Читайте:

### Болот Ширибазаров. Роман «Драгоценный»:

«За его компьютером сидел Шумер. Он беззаботно рубился в его любимую «стрелялку». Мама вынула из кармана халата несколько мятых купюр и положила на стол. Алексей оделся и, не попрощавшись, вышел из квартиры. В душе он, конечно, понимал, что мать просто не желает видеть, как её сын и зять постоянноссорятся между собой. Но она почему-то сделала выбор в пользу зятя, а не сына. Так Алексей впервые обиделся на маму, испытав к ней свою «фирменную обиду».

«Фирменными» друг детства Алексея Жора называл обиды из-за разреза глаз. Алексей считал себя русским, но никогда таковым себя не ощущал, потому что русской была только его мама. Отец был бурят, и окружающий мир с раннего детства то и дело напоминал ему об этом. И когда кто-то в чём-то отказывал Алексею или делал выбор не в его пользу, он невольно списывал это на разрез глаз. Он ехал в троллейбусе, обманутый очередным работодателем, и взглядом, усталым от жизни, смотрел в окно на мелькающие мимо улицы Читы, когда услышал разговор двух молодых бурят, сидевших впереди. Один из парней рассказывал, как его знакомый в Бурятии подержал за руку нетленного монаха и вскоре разбогател. Недолго думая, Алексей вышел на первой же остановке, пересел на автобус и доехал до вокзала. Там он купил билет на ближайший поезд до Улан-Удэ...»

